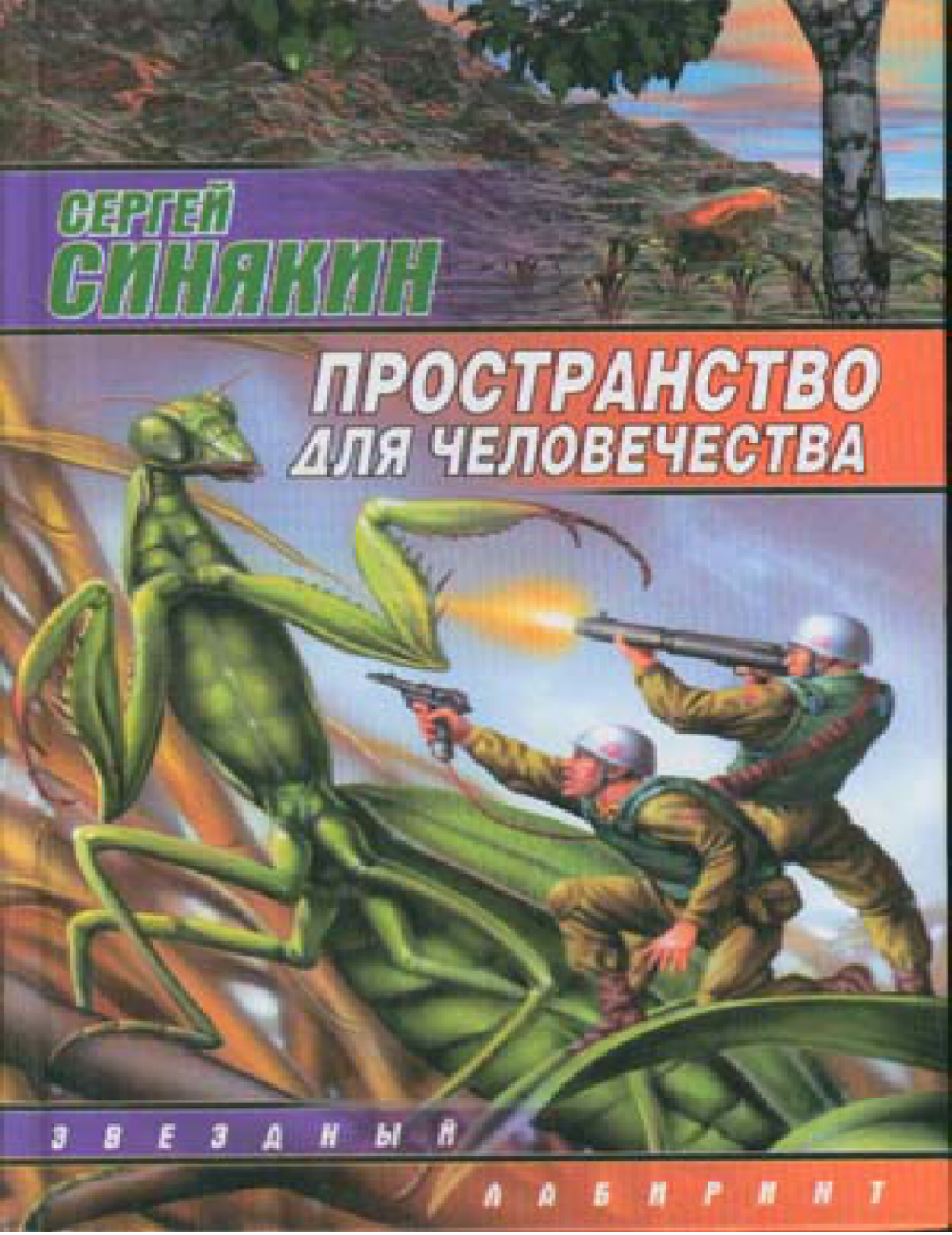

СЕРГЕЙ
СИНЯКИН

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЗВЕЗДНЫЙ
ЛАБИРИНТ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Волгоградский фантаст Сергей Синякин о своем детстве.

- Сергей Синякин
  - Часть первая КОСМОС ДЕТСТВА
    - Вечерний поезд никуда
    - «Дом восходящего солнца»
    - Станция детства
    - Кросс по пересеченной местности
  - Часть вторая ГОРОД ДЕТСТВА НА ПРАВОМ БЕРЕГУ
    -
    - Машина времени на одного человека
    - Второй километр и все, все, все
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Сергей Синякин
Детский портрет на фоне счастливых и грустных времен

Записки старого фэна

— Странное создание, — пробормотал Гавриил, вглядываясь в душу, что ожидала своей участи в Чистилище.

— А что ты хотел от души, сформированной книгами? — свел черные крылья горбом Вельзевул.

— Трудно понять, куда его направить, — сказал Архангел.

— Конечно же, в Ад, — не задумываясь, буркнул Вельзевул. — Ведь, читая книги, он всегда воображал себя Богом. Это ли не грех гордыми? А этот особенно заслужил… Ведь почти всю жизнь он читал исключительно фантастику!

Часть первая КОСМОС ДЕТСТВА

Вечерний поезд никуда

За мутным немытым окном тамбура пассажирского вагона мелькали знакомые рощи. Остался позади переезд, мелькнул пруд, в котором я с друзьями купался сорок лет назад, потом промелькнуло поле, где в пору моего детства была бахча и где меткий старичок поймал на прицел мои худенькие ягодицы, обтянутые синими семейными трусами, и метко нашпиговал их зарядом соли.

Замелькали дома, и проплыл вокзал станции.

Станция за двадцать лет не изменилась, не изменился грейдер, идущий по ту сторону железнодорожного полотна, по которому можно было добраться до когда-то бывшего нашим дома, стоящего напротив керосиновой лавки.

Я увидел маленький домик книжного магазина, где я часами рылся в старых книгах, что оставались не распроданными годами.

И вот проплыл с правой стороны элеватор. Здесь я работал с шестого класса каждое лето, когда приезжал к бабке с дедом.

Промелькнул переезд и дорога, ведущая на хутор Макаровский, куда я ездил на велосипеде к своему, другу Сане Галкину. Боже мой, как давно это все было! Как это было давно!

Я вернулся в купе, где все уже спали, плеснул себе водки из полупустой бутылки и лег на жесткую железнодорожную подушку, упираясь взглядом в синий дерматин верхней полки.

Печаль пятидесятилетнего мужика, который увидел мир своего детства, ожила во мне и потянула цепочку, звенья которой состояли из воспоминаний.

А поезд уносил меня все дальше от моего прошлого. Поезд стучал на стыках, словно убеждал меня в том, что прошлое не стоит вспоминать. Ведь это вечная грусть и тоска — вспоминать время, когда ты был счастлив и беззаботен, когда на летней киноплощадке крутили «Три мушкетера» с Жаном Марэ и «Подвиги Геракла» с каким-то югославским культуристом в главной роли.

Далекий гудок тепловоза подводил черту, разделяющую мое прошлое с моим настоящим. Он увозил меня в будущее, над которым густым покрывалом висел туман, а где-то позади оставались детские драки и влюбленности, наивные мечты, неумелые поцелуи и первые робкие прикосновения к любимой девочке, лицо которой я уже не могу вспомнить и, наверное, потому реконструирую его из черт тех, кого еще помню.

Я лежал и смотрел в синий дерматин верхней полки, но видел степь, усеянную россыпями красных и желтых тюльпанов. И

еще я видел стройную девочку, собирающую эти тюльпаны, прозрачный родник, из которого мы пили ледяную воду, вспоминал сделанное нами в детстве футбольное поле и красное закатное солнце, повисшее, над горизонтом.

Путь, который нами пройден, — печален и светел, ведь он стал всего лишь воспоминанием, легкой тенью, фантастически живущей в нашей памяти, фантомом, в существование которого веришь уже с трудом.

Есть только ты сегодняшний — толстый и неуклюжий мужик, растерявший свою детскую легкость непробиваемого вратаря футбольной команды, многое утративший и разочаровавшийся, плывущий в ночном поезде в ночной туман, из которого уже не будет возврата. Есть только ты — до сих пор не потерявший веру в сказку, а потому — пишущий эти сказки для других.

Есть только ты.

И поезд. Ночной поезд, который уносит тебя в никуда.

И стихи, написанные тобой в шестнадцать лет, которые не забудутся тобой до последнего и потому самого печального дня.

Мы — мальчишки. Мы веселы. Наша жизнь нам ясна. В небе солнце повесили, Раскалив докрасна. А мы мячик гоняем. Мы — играем в футбол. И мечтаем, мечтаем Вбить решающий гол. И еще мы мечтаем В жизнь шагнуть широко… До закатного пламени Далеко, далеко. Мы как книжные юнги. Вечный путь только начат. Пожелайте нам, юным, Прямоты и удачи.

Казалось, это было еще вчера. Еще вчера. Еще вчера. И только вслушиваясь в ровный перестук колес своего вагона, качаясь в идущем на запад поезде, с тоской понимаешь, что до нашего рассвета теперь куда дальше, чем до туманной черты горизонта, за которую садится солнце.

Может быть, именно из этого тоскливого ощущения невозвратимой потери и родилось желание обернуться назад, посмотреть на пройденный путь и вспомнить. Вспомнить всех, кого ты любил или ненавидел, вспомнить время, которое казалось бесконечным и которое называлось жизнью. Многих уже нет, и скоро не будет меня. Останется маленький холмик, к которому изредка будут приносить цветы, пока не закончится время чужой памяти.

Грустить нечего. Все это неизбежно. Давайте обернемся. Быть может, там, позади, осталось то важное, что ты искал всю жизнь, а найдя — не заметил.

«Дом восходящего солнца»

Хочется начать так.

Невесомый и бессильный, я повис в центре Вселенной, слушая, как бормочут где-то за ее пределами два начала, давшие мне жизнь, те самые «янь» и «инь» китайской философии, которые в самом недалеком будущем мне предстояло назвать своими родителями.

Не помню. Ничего из этого я не помню. Первые воспоминания относятся к более позднему периоду — тропинка, по которой мы с отцом приходили в военный городок, высокие и стройные сосны, кусты терпкой черемухи. С одного такого дерева упала мама и сломала себе руку.

Море называлось Балтийским.

Я был маленьким, а отец и деревья были большими. Особенно деревья. Казалось, что они растут с небес. На берегу было много камней, и совсем редко попадался Желтый песок, в котором можно было найти кусочек солнца с навсегда застывшим в нем насекомым далеких доисторических времен. Само рыжеглазое солнце смеется среди зеленых колючих ветвей.

Тропинку, протоптанную людьми, пересекала тропа муравьев. Люди не обращали внимания на муравьев. Муравьям не было никакого дела до людей. Они жили в разных измерениях. Но если взять длинный стебель травы и, облизав его, сунуть в муравейник, можно полакомиться жгучим и кислым муравьиным соком. Первое лакомство, доступное мне в детстве.

Дом восходящего солнца.

Не знаю почему, но, уже став много старше и услышав мелодию, я всегда вспоминал извилистую тропинку через лес, идущую рядом с морем, и корявые ладони сосен, которые упрямо удерживали небо на весу.

Дом восходящего солнца.

Море выбегало на берег, хватало меня за ноги и убегало, оставляя в суетливых извилистых струйках и маленьких лужицах обрывки водорослей и камешки, обсосанные до сладости леденца. Некоторые из них были похожи на хитрый глаз лисы.

Город, в котором мы тогда жили, назывался Хаапсалу. Море было Балтийским.

Глупо все-таки, что человек вырастает из детства. Теряется радостное и наивное удивление перед миром, которое умные и экспансивные французы назвали impression, что означает «впечатление». Вырастая, мы становимся практичными и

рассудительными, чаще всего навсегда утрачивая способность смотреть на мир с удивлением. Впечатление пропадает. Мы протягиваем руку и говорим — Господи, даждь нам днесь!

Чем старше я становлюсь, тем чаще в моей голове вспыхивают сверхновые забытого когда-то прошлого. Говорят, что перед глазами умирающего проходит вся его жизнь. Если это так, то наступит однажды миг, когда я вспомню все.

У вас никогда не бывает, что, блуждая по улицам незнакомого города, вы неожиданно сталкиваетесь с запахом вашего детства? Вот так, идешь по совершенно незнакомой улице, вдруг — неожиданный поворот, случайный ветерок, подъезд, пропахший кошками и стираным бельем, и — о боже! — именно так, именно так пахло когда-то далеко и давно, может быть, сто или двести лет назад. Воспоминания, живущие где-то глубоко в памяти, вдруг оживают, и в этих воспоминаниях таится тайная дрожь первого поцелуя, который ты уже забыл, лихорадочный трепет первою греха, который ты не забудешь до смерти, горечь давно ушедшей в небытие обиды, боль от удара и утрат, восторг однажды случившейся удачи, восхитительное чувство пойманного в полете мяча, сладость украденного, и синий дым на полях, и ярость тела, мчащегося на лыжах по снежной степи, и многое из того, что хотелось бы, но невозможно выразить словом.

Тропинка, ведущая к морю.

По серой воде бежали свинцовые барашки волн. Свинец в движении? Упрекните меня, но это запомнилось именно так.

Кричали чайки. Крик их похож был на скрип петель открываемой двери.

Может быть, это кто-то рядом со мной открывал двери в свое детство?

Море называлось Балтийским.

Прошли годы, и я стоял на причале, глядя на море. А море смотрело на меня черными глазами затягивающих водоворотов. По воде плыли какие-то щепки и размокшая пачка ленинградского «Беломора» фабрики, имени Урицкого. Наверное, она собиралась отправиться в кругосветное плавание.

Остро пахло винной пробкой, и солоновато-горький привкус стоял во рту. Вкус слез, которые всегда сопровождают встречи и прощания. Встречи с прошлым всегда обещают прощания с тем, что навсегда утрачено в нем.

Осколки воспоминаний. Разбитое зеркало души.

Перестало хотеться заглядывать в будущее. Сначала очень хотелось, а потом вдруг перестало хотеться. Наверное, потому что ушла вера в светлость и справедливость будущего. Теперь мне все чаще хочется вспоминать. Хочется восстановить прошлое, чтобы ожили в тебе его картины, как оживает в откупориваемой бутылке шампанское, выдержанное в подвалах несколько десятилетий. Но стоить только взяться за это безнадежное занятие, как цельная картина мира, в котором ты когда-то жил, рассыпается на осколки, вглядываясь в которые ты не узнаешь никого.

Я шел по берегу и увидел, как пацанята лепят из мокрого песка крепость. Крепость была славная — с круглыми зубчатыми башнями, с подъемным мостом и замком в ее середине. Невольно я им позавидовал. Мне тоже захотелось перемазаться в песке и лепить этот чудесный замок, населенный благородными рыцарями и прекрасными принцессами, замок, в котором по ступеням тяжелых сводчатых башен, освещенных чадящими факелами, бродяг печальные привидения и где в темницах закованы в кандалы кости когда-то живших врагов обитателей крепости.

Да, песчаные замки строят лишь в детстве. Позже этим некогда заниматься — надо переделывать мир.

Город назывался Хаапсалу. Когда-то его построили эсты.

Я так и не узнал, где надо поставить ударение в названии города, чтобы оно прозвучало правильно, Тогда, в прошлом, я просто не успел, сейчас мне стало все равно.

Отец был военным. Это сейчас правители эстов стали называть наших военных оккупантами из своих сиюминутных политических соображений. Тогда оккупантами считались германские войска, занявшие страну и уничтожившие случайно поселившихся в ней евреев.

Господи! Как они надоели, эти глашатаи, твердо знающие, что нужно всем остальным, эти проклятые вожди, которые хорошо знают, куда они нас ведут! У меня нет никаких претензий к американцам и чеченам, к буддистам и мусульманам, к деловитым японцам, к плодовитым китайцам, к бесшабашным неграм — пусть они все живут, как хотят. Я им тоже ничего не сделал, и у них нет претензий ко мне… Все претензии появляются у вождей и глашатаев, которые спешат наделить этими претензиями возглавляемые нации. А людям, как и мне, хочется простоты. Им хочется жить, чтобы потом, когда эта жизнь подойдет к своему печальному, но естественному завершению, вспоминать не о времени, когда ты был героем и бросался с

гранатой на танк, а времена, когда ты любил сам и был любим, когда тебя окружал зеленый луг, на котором паслись гордые кони и по которому гуляли прекрасные девушки. А героизм противен всему порядку жизни, он появляется тогда, когда жизнь начинает течь в ненужном ей направлении.

Дети знают это лучше нас.

Правда, наши отношения с детьми не всегда верны. Частенько забывается, что дети — это просто маленькие люди. Они любят и ненавидят, смеются и грустят, обижаются и обожествляют так же, как это присуще взрослым. Зачастую мы пытаемся свести общение с детьми к административной родительской функции, не учитывая, что из детей, воспитанных по таким рецептам, никогда не получится хороших родителей.

Но ведь цепь случайностей не должна прерываться. Мы должны думать о будущем. Смысл общественного прогресса — в совершенствовании человеческой души. У нас же почему-то больше упирают на научно-технический прогресс. Потому мы и живем все теми же питекантропами, только научившимися пользоваться компьютерами и запускающими ракеты в космос. И мне кажется, что мы допускаем еще одну ошибку. Почему-то считается, что прогресс заключается в степени сытости. Конечно, двести сортов колбасы неплохо, очень неплохо. И все-таки это только колбаса. Лужа, в которой отражаются звезды. Для того чтобы увидеть настоящие звезды, а не их отражения, необходимо поднять рыло от воды и посмотреть вверх.

Как семя в почву, мы должны уложить в души наших детей тот нравственный заряд, который позволит им сохранить самые высокие человеческие качества и осознать, что предназначение человека там — среди звезд.

Бабий Яр делил людей просто. Те, кто выбрал улыбку Джоконды, ложились в ров с негашеной известью. В затылок им стреляли любители колбасы.

Чтобы не повторилась трагедия прошлого, надо чтобы в мире было меньше любителей колбасы. А главное — чтобы они не пролезли на роль глашатаев и мессий и не стали учить человечество, как ему жить дальше. Постулаты добра заложены с давних времен. Меняется лишь их изложение А суть постулатов искажена любителями колбасы.

Но город Хаапсалу казался тихим и хорошим. Вообще Прибалтика мне нравилась всегда неспешным течением жизни. В этом есть свой тайный смысл. Куда торопиться? Ведь впереди нас всех ждет черная пустота.

Жаль, что сейчас в Прибалтике правят любители колбасы.

Мама моя была молодая и красивая. С того времени я помню ее в светящемся платье из ткани, которая называлась «крепдешин». Еще у меня была сестра. Но ее того времени я совершенно не помню. С ней мне еще предстояло познакомиться. Удивляться было нечему — сам я только недавно ступил в этот мир, она же в нем уже утвердилась.

Мы с отцом уходили в лес, а мама с сестрой смотрели нам вслед.

В лесу белела и одуряюще пахла черемуха.

И, еще там тек ручей, через который мы переходили по толстому бревну. Ручей впадал в море. Так иногда бывает, что тоненькая струйка родника минует реку и впадает непосредственно в океан. Это редкое предназначение, доступное не каждому ручью.

У нашего лесного ручья была именно такая удивительная судьба.

Пересекая ручей, тропинка вилась среди кустов и деревьев и приводила в военный городок.

Что нам остается от прошлого, кроме памяти? Шрамы от падений и операций?

Книги с пожелтевшими страницами на прогнувшихся стеллажах?

Медленно стареющие друзья? Пожелтевшие письма?

Роешься иной раз в вещах и вдруг находишь фантик уже не выпускающихся конфет, пятикопеечный билет в кино или надпись на подаренной другом книге, и душу твою охватывает неожиданно щемящая печаль.

Говорят, детские впечатления самые яркие в жизни. Из них складывается отношение к окружающему тебя миру. А все серые будни, что следуют за рождением, лишь портят первое впечатление, превращая нас в недовольных всем ворчунов.

Impression…

Праздники проходят.

Когда мне было шесть лет, мои папа и мама были молодыми и красивыми. Я смотрю на их фотографию, и меня не покидает мысль, что время беззастенчиво и нагло нас обворовывает. Оно действует как заправский разбойник, отбирая у нас родных, лишая жизни нас самих, и не оставляет шансов Нашим детям.

Равняются гранитные холмы Катком столетий.

И сметен мир. И смертны будем мы. И наши дети…

Вот и я уже прожил полвека, умер отец, еще больше постарела мать, да и моя голова стала похожа на вершину

африканской горы Килиманджаро. Моя смешливая сестра, из-за которой когда-то дрались мальчишки, стала директором учебного комбината целого городского района, превратилась в педагогического генерала, воображающего, что он знает жизнь лучше всех остальных.

Интересно, что родилось раньше — желание учиться или стремление поучать?

Раньше мне казалось, что жизнь — игра. И не более того.

Когда еще была жива прабабушка Дуня, мы часто играли с ней. Я складывал из табуретов и стульев самолет, и мы улетали далеко-далеко. И горючее у нас никогда не кончалось. Мы летели над Северным полюсом, над Индией, над океанами, за иллюминаторами серебрились горные вершины, и в кабину заглядывала пустота звездного неба. Бабе Дуне нравилась эта игра — в старости люди любят возвращаться в детство. Наверное, они начинают понимать, что потеряли.

С пятнадцати до пятидесяти я воспринимал жизнь всерьез. Теперь мне кажется, что я ошибался. Жизнь действительно игра, все те же самые казаки-разбойники, и в этой игре я в свое время доигрался до подполковника.

Отец был этим обстоятельством горд. В свое время он дослужился до капитана. Вместе с тем он хорошо видел время, поэтому последние годы жизни не раз повторял, что хотел бы увидеть меня ушедшим на пенсию. В старости он был красив той красотой, которая редко дается мужчинам. Обычно, старея, мы начинаем походить на облезлых и растолстевших от бананов обезьян.

Но тогда он служил в армии. На нем была синяя форма и фуражечка, из-под которой выглядывал задорный казачий чубчик. Мне нравилась форма и еще больше его тяжелый вороненый пистолет, от которого пахло армией.

От того времени осталась моя фотография, где я важно сижу в отцовской фуражке и с тяжелым пистолетом в руках. Наверное, это и предопределило мою судьбу — всю сознательную жизнь форменная фуражка серого цвета с таким же кителем, на котором время от времени менялись погоны, провисела в моем служебном шкафу.

Голубая ленточка воспоминаний… Ручей, текущий во вчерашний день.

Помню вкус сосновых шишек. Помню, как мы собирали грибы.

Больше из того времени я ничего не помню. Мама рассказывала, что до этого мы жили в Новгородской области. Там

я и родился. Они были бедной офицерской семьей. Дома ничего особенно из мебели не имелось, и кровать была солдатская — отец притащил ее из казармы. Вот на этой солдатской кровати я и был зачат в любви и согласии. Сестре тогда было три с половиной года. Все правильно, нянька появилась на свет чуть пораньше наследника. Правда, наследника этого семья чуть не лишилась. Говорят, что я рос слишком шустрым. Однажды, когда мама наряжала елку, я путался у нее под ногами. На полу на электроплитке варился суп. То ли суп был картофельным, то ли я слишком шустрым, но в эту самую кастрюльку я и уселся своей пухлой попкой. Лечили меня в военном госпитале долго, с уколами, но все закончилось хорошо — следов ожогов на ней даже не наблюдается. Но это я знаю с рассказов родителей. Ничего не помню, даже боли.

Память начинается с города Хаапсалу и с ручья, окруженного цветущей черемухой, с корявых сосен, подпирающих небеса, с кусочков янтаря, в которых жило солнце.

Уже позже отца перевели служить в Венгрию. Там я пробыл до семи лет. Наверное, мы были счастливой офицерской семьей, которой выпало служить за границей. В стране тогда было бедно, за границей — хорошо. Каждое утро к домам приезжал мороженщик, начинал звонить и кричать нараспев. У него был велосипед с холодильной камерой впереди. Мороженое накладывалось разноцветными шариками в вафельный стаканчик; Каждый холодный шарик имел свой вкус. Мороженое стоило немного — один форинт. Удовольствие, которое мы от него получали, стоило значительно больше. Еще в офицерском магазине продавалось шоколадное блюдо с фигурками животных, тоже выполненных из шоколада. Кажется, все блюдо стоило восемь форинтов. В этом же магазине продавались вафельные стаканчики, наполненные шоколадно-молочной массой. Помнится, мы их очень любили. Каждый стаканчик стоил один форинт.

Мы — это дети военных. В Венгрии я дружил с Витькой Фоменко. Отец его был начальником особого отдела, который еще назывался когда-то СМЕРШ. Еще я помню нашего заводилу Борьку Попова. Остальных я уже не помню. Мы росли как цветы на свалке — предоставленные самим себе. Родители пытались отдать меня в садик. Ходил я в него один день — потом случился конфликт, я пробил противнику голову и был исключен из садика с порочащей меня формулировкой. Сестре Наташке было легче — в Венгрии она уже пошла в школу.

Жили мы в квартире на четвертом этаже панельного дома, построенного для офицерских семей рядом с военным городком.

По соседству с нами жили Фоменко. У Фоменко была дочь Людмила, которая дружила с сестрой.

На въезде в городок стояла венгерская корчма, в которой продавалась пузатая бутылка рома с крестами на этикетке. Почему-то она притягивала наши взгляды и вызывала особое любопытство. В ней было что-то пиратское. Казалось, что вот-вот выйдет одноногий пират с попугаем на плече.

Ниже наших домов протекала река Тиса. Вода в ней была медленная и плавная. Берега реки поросли камышом. В выходные дни офицеры устраивали рыбалки, выплывая на середину реки на плотиках, для устройства которых использовались сигары подвесных баков для горючего самолетов МиГ-15 и МиГ-17, которые стояли на аэродроме и тренировались в отражении агрессора на специальном полигоне. Рыба в реке водилась разная, но чаще всего клевала радужная рыбка капрал, одновременно похожая на окуня и ерша. Таких рыб я больше нигде не видел.

Рядом с военным городком по другую от офицерских домов сторону дороги был заброшенный сад. А в саду блиндаж, где и находилась наша тайная штаб-квартира. Туда мы стаскивали разное добро, найденное на территории части или полученное от солдат. Осенью мы лазили на деревья и рвали грецкие орехи. С них мы сдирали зеленую горькую шкуру, поэтому наши руки и лица всегда в это время были в желтых йодистых пятнах от сока, содержавшегося в кожуре.

Мне исполнилось пять лет, когда я украл из коробки папирос «Москва», которые курил отец, несколько папирос. Забравшись в заросли кукурузы рядом с домами, мы принялись раскуривать их, как раскуривал когда-то трубку мира знаменитый индеец Чингачгук. Именно в этот момент нас поймала моя сестричка. Ее решимость все рассказать родителям не исчезла даже после наших угроз. К моему удивлению, все обошлось без обычной порки. Отец позвал меня в ванную комнату, дал мне папиросу и начал учить курять всерьез, то есть — затягиваясь. Я затянулся. Из глаз моих полились слезы, я закашлялся, замахал руками и не курил до окончания десятого класса, когда ради форса купил пачку болгарских сигарет «Феникс».

С тех пор я курил все, что дымится. И я рад был бы бросить курение, я бросал, наверное, не меньше, чем это делал Марк Твен, но все неудачно. Легко бросить курить, но начать оказывалось еще легче.

Вообще-то без телесных наказаний в нашей семье не обходилось. То же самое происходило в семье Фоменко. Наверное, мы были хотя и маленькими, но шустрыми, и с нами постоянно случались такие истории, за которые надо было

наказывать. Однажды мы забрались на полигон во время боевых стрельб, Потом, катаясь на плотах, нашли автомат ППШ и до того времени, как его отобрали, ухитрились выпотрошить из диска десятка два патронов. С патронами мы поступили просто — набрали у госпиталя бинтов, взяли в части полбанки краски и отравились на стрельбище. Если обернуть патрон в бинт, омакнуть его в краску, а затем поджечь, то через некоторое время патрон очень звучно стрелял. На выстрелы прибежал какой-то сержант, и в это время с десяток приготовленных нами патронов начали палить во все стороны. Сержант залег, но успел засечь нас всех. Личности мы были известные, поэтому особого расследования не понадобилось, а возмездие не заставило себя долго ждать. В этот раз нас с Витькой пороли вместе — лицом друг к другу, чтобы каждый наказуемый видел глаза товарища. Разумеется, мы каялись и обещали — до следующего раза, который, как обычно, был не за горами.

Удивительно, но нам тогда было пять лет.

Отец служил командиром автороты БАО — батальона аэродромного обслуживания. Часто я бывал у него. Солдаты меня любили. Можно сказать, что они меня вынянчили, вытаскали в зубах. Неподалеку от автороты была столовая, где работала официанткой моя мама. Кормили офицеров еще по сталинским нормам, а это значит — до отвала. Помню отбивные и какао в стаканах с подстаканниками. Иногда после этого мы бежали к колючей проволоке, отделяющей аэродром от всего остального, и смотрели, как взлетают истребители — маленькие пузатые серебристые рыбки. И еще мы смотрели, как летчики тренируются на катапульте, установленной неподалеку от штаба. С грохотом взрывались пороховые заряды, и пилотское кресло взлетало по направляющим вверх. Наверное, перегрузки были значительными, но желание попробовать этот полет в нас не умирало.

Однажды мы всей ордой забрели на полигон, когда шла его штурмовка. Было страшно, потом нас ловили, и по полигону метались юркие «виллисы». Наверное, было очень забавно смотреть, как мечутся среди мишеней-пирамидок маленькие испуганные люди. Забавно и страшно. От таких выходок детей у родителей седые волосы появляются раньше положенного срока.

Тогда мы этого не понимали. Порой не понимаем и сейчас.

Иногда в выходные дни мы выбирались в город Сольнок. Там мы всей семьей отдыхали. В косы сестры Наташки были вплетены

огромные газовые банты. Я в своем одеянии и штанишках на помочах напоминал иностранца. Да мы и были иностранцами в заграничной стране.

В Сольноке были бассейны, куда мы ходили купаться.

Один был с горячей сероводородной водой, от которой пахло тухлым мясом. В нем обычно степенно сидели пожилые венгры. Некоторые и в голом виде читали газеты.

Однажды один венгр в этом бассейне плеснул мне в лицо водой. Я захлебнулся и долго кашлял и отплевывался. Венгр стоял рядом и обидно смеялся. Странно, прошло уже много лет, а я все помню свою недоуменную обиду. Этому существу нравилось обижать маленького человечка, каким был я. По своему характеру он вполне мог служить в концлагере, этот нехороший человек. А может, и служил. Все это было в пятьдесят седьмом году, мне было четыре года, а со времени последней войны прошло всего тринадцать лет. Человеку, который меня обидел, радуясь этому, как развлечению, было лет сорок. Самое время отдохнуть от войны и забыть о том, что ты был эсэсовцем. Он не забыл. Но это уже зависит от состояния души.

Второй бассейн казался неглубоким, и вода в нем запомнилась мне теплой. Еще его называли малечником, потому что в нем в основном купалась ребятня. Еще был огромный бассейн с изумрудной ледяной водой. В этом бассейне купались редкие мужики.

Вот в малечнике я и утонул. Стоял, держась за железные поручни, и глазел на окружающих. Потом поскользнулся и пошел на глубину. В глазах закружились разноцветные пятна, а в ушах зазвенело. Я бы обязательно утонул, ведь было мне тогда всего пять лет, но мое отсутствие заметила сестра и вытащила меня, дав таким образом прожить еще сорок с лишним лет, да и это время, как мне думается, не предел. Что-то ждет меня впереди, знать бы только — что?

Отец уходил в отпуск, и мы отправлялись на его родину. Дед Василий и баба Нюра жили на степной станции Панфилово, путь в которую лежал через пограничный город Чоп и столицу нашей Родины Москву. Ах, Москва! Помню ГУМ. «Все, кто потерялся, встречайтесь у фонтанов!» Изобилие игрушек. Автоматы, в которых можно было купить сигареты, спички, конфеты или просто подушиться одеколоном «Полет». Рестораны, в которых красиво и вкусно кормили. Зоопарк, который зачаровывал изобилием животных и где можно было прокатиться в тележке, запряженной пони. И знаменитое московское эскимо, которое стоило около трех рублей. Московский поезд, в котором

подавался чай в тонких стаканах, установленных в тяжелые мельхиоровые подстаканники. К чаю полагались маленькая пачка печенья и тот самый дорожный чай в специфических пакетиках, о котором я почему-то вспоминаю с особой грустью. Чай был густого янтарного цвета и удивительно вкусен — с тех пор я такого чая не пробовал, хотя появилось столько сортов, только вот нет среди них того…

Дед жил по улице Демьяна Бедного в доме номер тринадцать. В соседнем доме жил его брат Илья Степанович Сенякин. У него были сын Владимир и дочь Раиса. Дочь у него была подарком судьбы. Когда дед Илья вернулся с войны, жена Верка бросилась ему в ноги, а дочери было уже два или три года. При всем желании дед Илья не мог принять участие в ее рождении, но принял участие в воспитании. Кто из проезжавших солдатиков принял участие в судьбе Раисы, трудно было сказать, да и бабка Верка ни в молодости, ни в старости об этом особо не распространялась. Скорее всего этот солдатик был неудачливым, поэтому и судьба Раисы оказалась соответствующей. До одиннадцатого класса она была обычной приветливой девчонкой, бегала на танцы и ничем не выделялась из сверстниц. Но после школы на одном глазу у нее появилось бельмо, которого она очень стеснялась. Раиса стала нелюдимой, редко выходила из дому, а потом и вовсе стала затворницей, занимаясь только выпасом коз в полном одиночестве. Можно представить, что она передумала в то время, когда лохматые разноцветные козы и глупые овцы грызли траву на пустырях. Замуж она, несмотря на все попытки родителей, так и не вышла. Жизнь ее протекала в безвестности и глухой пустоте дома, где Раиса вязала на продажу пуховые платки, те самые платки, которыми славился север области и которые были ничуть не хуже оренбургских. Не знаю, сколько женщин ходит в оренбургских платках, но в воронежских и волгоградских платках буквальным образом ходит половина живущих в России. Тоскливая жизнь Раисы оборвалась после смерти деда Ильи и бабки Веры. Продав дом, она уехала к брату Владимиру, где через некоторое время скончалась от сердечного приступа.

Каждый выбирает по себе
Ношу и посильную дорогу.
К звездам путь,
Или тропинку к Богу
Каждый выбирает по себе.

Ее брат Владимир с родителями жил не слишком долго.

Однажды он влюбился, но его родители были категорически против его брака с любимой женщиной. Тогда Владимир уехал в Еланский район, где женился и народил пацана и двух девчонок. С родителями он долгое время не общался и только в конце их жизни немного отошел сердцем.

Заграничного сына Николая с семьей дед с бабкой встречали трепетно и уважительно. Из-за границы отец всегда всем родственникам привозил подарки, каких невозможно было сыскать в сельпо. К тому же он был в то время строен, кучеряв, а форма придавала ему еще большее обаяние, и при этом все усугублялось наличием красавицы жены.

При всем при этом семья наша, надо сказать, была патриархальной и хранила казачьи обычаи. Так, садясь за стол, никто не смел взять в руки ложку, пока это не сделает дед. Дед Вася степенно, как и подобает главе почтенного семейства, садился за стол, брал в руки и внимательно оглядывал расписную деревянную ложку и принимался хлебать борщ. Вслед за ним приступали к трапезе все остальные. Торопыга мог получить этой ложкой по лбу. Со мной так однажды и произошло. Но лоб у меня был крепкий, а ложке, видимо, уже пришло время — черенок треснул, и деду пришлось есть ложкой из нержавейки.

Помню, иногда из Михайловки приезжала моя тетка Антонина Васильевна, которая была почему-то записана на бабкину девичью фамилию и таким образом была Ивиной. Она была невысокой и грудастой, так называемой казачьей красоты, какой ее в то время изображали романисты, пишущие о казаках.

В то время я жаждал славы, поэтому нередко, подрисовав себе чернильным карандашом усы, выступал с сольными номерами, распевая перед родственниками популярные тогда песни типа «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» или «Прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя!». Последняя песня, исполняемая мною, в нашем доме пользовалась бешеным успехом. Подозреваю, что любой другой исполнитель, даже Бернес и Утесов, такого успеха в нашей семье не имели бы.

Дед как раз затеивался строить новый дом, и в его доме часто ночевали снабженцы из разных колхозов. Благодаря знакомствам такого рода дед зарабатывал стройматериалы, необходимые для строительства дома.

Мы отдыхали в Панфилове, общаясь с родственниками и знакомыми, изредка отец брал меня на рыбалку, но чаще мы отправлялись пешком на Американский пруд. Рядом с Панфиловом находился поселок Красная Заря, который еще почему-то называли «Америка». Прямо в него упиралась улица Партизанская, которой заканчивалась деревня. Воистину все

смешалось в доме Облонских. По аналогии и пруд, расположенный там же, назывался Американским. Вообще-то это была цепочка из трех прудов, разделенных плотинами. На берегу первого находилась звероферма, на которой выращивали песцов и чернобурок. Во втором пруду купались. На третий пруд водили на водопой скот. Пруд, в котором все купались, еще в то время зарос камышом. Если заплыть в глубину камышей, можно было заметить, как темнеет вода. Казалось, что в глубинах пруда живет доисторическое чудовище. На плотине росли могучие ветлы, к ветвям одной из них была привязана веревка, которая могла унести раскачавшегося хорошенько смельчака на десятиметровую высоту, откуда тот вонзался в воду, разбрызгивая фонтаны брызг. На мелководье этого пруда бродили с бреднем. В бредень попадались красные как медь караси и черные от ила огромные раки, достигающие тридцати, а то и сорока сантиметров от хвоста до кончиков клешней. Раки возились в постепенно закипающей воде, краснели от тревоги и страха, впитывая в нежное свое мясо аромат укропа.

Варили их сразу много. Не помню, пили ли взрослые под раков «жигулевское» пиво, но нам, малышне, восторгов хватало и без этого.

В эти посещения станции Панфилово я обзаводился друзьями.

Нередко над Панфиловом проливались дожди, превращая поверхность грунтовых грейдеров в сплошное глиняное месиво. Машины по нему пройти не могли, проходили только тракторы ДТ-54 и «Беларусь», причем последние выбивали в жидкой глине глубокие колеи. Колеи эти заполнялись водой, которая от воздействия южного солнца становилась совсем горячей. Мы с новыми моими друзьями выбирали колею попросторнее и залегали в воду, принимая, таким образом, грязевые ванны. Рядом в соседней луже не менее степенно возлежали свиньи. У нас с ними был нейтралитет, благо луж для общего пользования вокруг хватало. Иногда в эти же лужи с нами залезали и соседские девчонки. Залезали они голышом, но наши половые различия в то время были несущественны и особых волнений не вызывали.

Вечерами взрослые устраивали на скамеечке перед домом посиделки. Посиделки эти обычно сопровождались игрой в карты и лузганьем подсолнечных семечек. Умные разговоры, которые они меж собой неторопливо вели, нам быстро наскучивали, и мы убегали в дом, где заводили патефон. Пластинки в основном были с русскими народными песнями, исполняемые хором имени Пятницкого, но имелась и эстрада — например, «Ландыши» и уже

упомянутый «Мишка-Мишка». Изредка попадались пластинки с Руслановой, задорно исполнявшей «Валенки», а также с песнями, которые сипловато исполнял Утесов. Пластинки были невероятно хрупки, и если они трескались, их просто сваривали с помощью вплавленных патефонных иголок, после чего пластинки можно было слушать дальше — они заикались лишь на этих самых иголках

В комнате у деда висела большая черная тарелка репродуктора, по которому передавали концерты и новости. Иногда шла трансляция радиоспектаклей, все их слушали с необыкновенным интересом. Уже позже, когда отец демобилизовался и мы все приехали в Панфилово, чтобы там жить, отец купил радиолу ВЭФ. На ней можно было слушать пластинки в тридцать три с половиной оборота, а установленная у дома антенна позволяла ловить разные станции. Несомненно, что этот приемник в глазах деревенских жителей являлся буржуйской штучкой, соответственным образом относились и к отцу.

Но это было уже потом, когда Никита Сергеевич Хрущев посчитал армию слишком большой и начал ее сокращать. Отец демобилизовался, а поскольку он являлся офицером, а значит, человеком свободным от собственного угла — это тогда был единственный вид свободы, доступный кадровым военным, — встал вопрос, куда ехать жить. Точнее говоря, такого вопроса у отца не стояло. Дед уже давно замышлял построить новый дом, в котором хватило бы места всем. И мы поехали к новому месту жительства — на станцию Панфилово бывшей Сталинградской, а ныне нейтрально Волгоградской области. Тогда еще считали, что можно безнаказанно менять название города, тем самым изменяя его будущую историю. Царицын переименовали в Сталинград, Сталинград, после того как разделались с культом личности, назвали Волгоградом, а Сталинградскую битву, которой восхищался весь мир, одно время стыдливо называли битвой на Волге. Вообще фарисейство было всегда присуще нашим правителям. Когда пленные немцы более или менее восстановили город, то в нем они построили и здание планетария для обучения подрастающего поколения прогулкам среди звезд. Оборудование в нем поставили трофейное, вывезенное из Германии по праву победителя, Кажется, из города Магдебурга. На планетарии повесили стыдливую табличку, возвещающую, что он является даром благодарного немецкого народа русскому народу-освободителю. Ну, освободитель, это понятно, после окончания войны мы немцев много от чего освободили, в том числе и от оборудования планетария. Потом, правда, эту табличку так же

стыдливо сняли. Увидел я ее впервые в детстве, а вот о том, что ее сняли, узнал уже ближе к своему пятидесятилетию, когда гулял по городу со смешливым питерским писателем Андреем Измайловым и захотел показать ему этот образец высшего административного творчества.

Все дело в точке отчета.

Венгрия конца пятидесятых была страной Лимонией, той самой Чемоданией. Из Венгрии офицеры привозили родственникам красивые иностранные шмотки. А уж во вторую очередь они там защищали мировую систему социализма. Слова из песни не выкинешь.

Ах, какие в Венгрии были игрушки!

Помню, отец подарил мне железную дорогу с мостом, семафорами и вагончиками, которые крепились к почти настоящему паровозику. Жаль, что игрушки у меня долго не держались — мне всегда хотелось заглянуть в их душу. Помню еще свою первую книгу. Это была книга хорошего детского писателя Аркадия Гайдара. Называлась она «Чук и Гек». Тогда я еще не знал, что с самой гражданской войны Аркадий Гайдар жил с кровоточащей душой. Нелегко было быть командиром полка и принимать решения, влекущие за собой смерть людей. А писатель был чудесный. Его «Школа» была долгое время одной из моих самых любимых книг. И еще я сразу полюбил восточные сказки «Тысячи и одной ночи». Арабские стихи я пропускал, как и любовные сцены. Мне нравились ифриты и джинны.

Но вернемся к Гайдару. Вот интересно, время от времени раздаются голоса, требующие включить в школьную программу «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Чего уж мелочиться! Давайте воспитывать наших детей на новой литературе: «Я — вор» Сухова или «Собор без крестов» Шитова. Тогда мы точно получим лагерное поколение, собственно, таким поколением мы все и являемся, литература свободы наложила на нас всех свой неизгладимый отпечаток. А по мне, лучше бывшие душегубы, которые осознали все, пусть и с запозданием осознали свое душегубство и написали книги, на которых можно воспитывать высокие качества наших детей, чем литераторы, что, руководствуясь благими побуждениями, растят из наших детей душегубов.

Можно смело сказать, что понятие о писателе как о «инженере человеческих душ», запущенное Сталиным с легкой руки Юрия Карловича Олеши, исчерпало себя давно. Теперь многих писателей можно смело назвать золотарями, ведь они так

бережно роются в дерьме, чтобы найти самое омерзительное. И выдают это за конечный продукт человеческой души. Номы-то знаем, что это конечный продукт нашего тела!

Страна Лимония кончилась, когда Никита Сергеевич Хрущев, избавившись от своего друга Берии, а потом и от маршала Жукова, который помог ему этого Берию раздавить, решил, что армия слишком велика и для защиты Родины хватит ядерных бомб и ракет. Все остальное он считал вчерашним днем, как посчитали перед войной устаревшими и не соответствующими реалиям жизни тачанки.

Наступали годы волюнтаризма.

Нет, времена тогда были удивительными. Историю меняли запросто. Приходил в класс учитель и говорил: «Дети, откройте учебник на такой-то странице… Открыли? Возьмите ручку и вычеркните как следует четвертую строчку сверху. Зачеркнули? Теперь еще зачеркните двенадцатую и двадцать восьмую строчку. Когда придете домой, то аккуратно вырежьте портрет человека на восемнадцатой странице. Завтра я проверю, и кто этого не сделает, тот будет серьезно наказан».

И все. С этого дня история уже выглядела совсем иным образом. Помню, как это было с Ворошиловым, Маленковым, Кагановичем и Молотовым. Сестра помнит, как все это было с Берией. Прошло совсем немного времени, и Гагарина в космос стал отправлять наш дорогой Леонид Ильич, а бессовестный Никита Сергеевич, скомпрометировавший себя разделением партии по промышленному и сельскохозяйственному признаку и насаждением нероссийской культуры — кукурузы, остался в памяти хулиганом, который стучал ботинком по трибуне ООН.

Через двадцать лет, не успел дорогой Леонид Ильич огорчить советскую милицию отменой праздничного концерта в ее день, а это оказалось неизбежным вследствие его кончины, как история снова сделала зигзаг. Все, кто беззаветно заглядывал дорогому и неповторимому в анальное отверстие, стали наперебой кричать, что дух у эпохи застоя был крайне неприятным. А чего вы еще хотели, заняв свое место за спиной у Генерального Секретаря? Кто вешал ему ордена и медали на грудь? Почему вы теперь удивляетесь, что старый и больной человек элементарно надорвался? Он же не штангист Василий Алексеев, чтобы ставить рекорд за рекордом!

Но за эти вопросы могли еще, очень даже могли… Нет, лагерей на Колыме уже почти не осталось, а вот психиатрических больниц закрытого типа было построено немало. Чего

удивительного, коли у всей страны был единый диагноз — вялотекущая шизофрения! И началась она именно с зачеркивания портретов в учебниках и замены страниц в энциклопедических словарях! Быть может, она началась еще раньше — с того самого момента, когда мы начали рушить памятники царям, и царским генералам, вся вина которых заключалась в том, что они жили в эпоху царствования конкретного сатрапа. С каждым разрушенным памятником отмирала частица народной души. В конце концов мы превратились в Иванов, не помнящих собственного родства. У народа с разорванной душой и дети рождаются калеками.

Тогда по малолетству я этого не осознавал.

Панфилово окружала степь.

В степи жили тарантулы и суслики. Суслики были забавны, а тарантулы — зловещи. И тех и других мы выливали из норок. Для того чтобы вылить одного тарантула, хватало ведра воды, для того чтобы вылить суслика, воды требовалось куда больше. Мокрые суслики выглядели жалко. Да и посвистывали они жалобно. Тарантулы смотрелись более достойно. Встав в боевую стойку, тарантул разглядывал тебя внимательно цепочкой глаз. Рост противника тарантула не путал, он защищался до последнего вздоха своих трахей. Чаще мы их не выливали, а ловили на горошину из смолы, которая привязывалась к нитке. Тарантул хватал смолу своими жвалами и прилипал к ней. Пойманных тарантулов мы сажали в банку. Там они пожирали друг друга. Жестокая забава. Сейчас бы я так не поступил. Сейчас мне жалко всех живых существ, даже пауков и тараканов мне не хочется убивать. С возрастом приходит понимание природы и жизни, исчезает неистребимая тяга к убийству, живущая в каждом ребенке.

Семейными животными у нас были коты.

Мудрые и самостоятельные животные. И очень независимые. Коты жили в нашем доме параллельно с людьми, интересы их с семейством Синякиных пересекались лишь изредка — когда требовалось поесть или хотелось немного ласки. Ночами начиналась их тайная жизнь, которая прорывалась в нашу действительность дикими криками и звуками драк, доносившимися со двора.

Впрочем, дед всегда держал во дворе собак.

«Чтобы брехали», — говаривал дед.

Надо сказать, что старались они на совесть.

Помню лохматого Шарика. Как сейчас понимаю, происходил он из южнорусских овчарок, отличался кротким нравом и

повышенной добротой к детям. Зимой я запрягал его в савки и носился по заснеженным улицам Панфилова. Дед моих занятий не одобрял — хоперские казаки ездовых собак не знали и твердо верили, что собаки должны охранять дом. И только.

Я в то время думал совсем иначе. Скорее всего потому, что именно в это время читал Джека Лондона. Исполнилось мне тогда восемь лет, и моим кумиром стал «Время-не-ждет».

А кто бы в него не влюбился? Только вот семейная концовка в Солнечной долине меня тогда не особенно устраивала. Как всякий мальчишка, я полагал, что люди рождаются для подвигов и должны эти подвиги совершать всю жизнь. О том, что люди совершают подвиги не ради них самих, а при достижении определенных целей, тогда не понималось. Тем более я совершенно не представлял, чем должен заниматься человек, когда цели достигнуты. Старость в моем понятии начиналась с тридцати пяти лет, и по молодости я рассчитывал, что мне до нее не дожить — ведь я готовился к совершению подвигов. Ну, не двенадцати, как у Геракла, но один подвиг я надеялся совершить твердо.

Если бы я когда-нибудь стал режиссером, я постарался бы поставить несколько фильмов. «Время-не-ждет» по Джеку Лондону, «Каторгу» и «Богатство» по романам Валентина Пикуля. И странное дело, на роли главных героев в этих фильмах я видел и вижу одного человека — Эммануила Виторгана. Все дело во внешности. У него внешность интеллигентного и романтичного уголовника. Жесткое лицо и мечтательные глаза. Именно то, что необходимо для задуманных мной фильмов. Увы! Я не стал режиссером, а Виторган постарел. Мечты, мечты…

И космонавтом я не стал. Даже на военного летчика меня не хватило. После одного футбольного матча, в котором меня ударили по голове, зрение мое ухудшилось. Не вышло. Вместо того чтобы летать, я всю жизнь ловил жуликов. Вот ведь, блин, — мечтая о звездах, видишь их отражения в лужах.

Собаки и волки, воющие в зимней колючей степи. Вот что такое — наши мечты. Хотелось, да не сбылось.

Помню, как мне попался в руки Беляев. Была такая книга «Звезда КЭЦ», выпущенная в конце пятидесятых в Киргизии. В книгу поместили одноименный роман, «Голова профессора Доузля» и роман «Человек-амфибия». «Нам бы, нам бы, нам бы всем на дно, там под океаном пить вино…» Этот Ихтиандр будоражил мое воображение, «Двадцать тысяч лье под водой» Ж.

Верна, прочитанные чуть позже, произвели не такое впечатление, хотя капитан Немо нравился мне даже больше Ихтиандра. И еще был «Ариэль». После него я начал летать во сне. Помню один и тот же сон, я лечу в ночном небе, чувствую, что устал, и помимо своей воли начинаю снижаться, а на пути у меня высоковольтные провода. Этот сон часто мне снился до одиннадцати лет. Я даже проверял, может, я и в самом деле умею летать? Увы, все заканчивалось падениями с лестницы, ведущей на чердак дома. Летать я продолжал только во сне.

Наверное, все в жизни зависит от точки отсчета. Мироощущения тоже.

Да, черт побери! Все дело в точке отчета. Как говорили классики марксизма-ленинизма, «бытие определяет сознание». Оно его и определило.

Поэтому оставим философию. Поговорим о бытие.

Станция детства

Станция Панфилово еще называлась поселком Калининский. Когда-то она была райцентром, но после того, как Новоаннинску был присвоен статус города, районный центр перевели туда, а станция Панфилово стала медленно хиреть, постепенно превращаясь в обычное сельское захолустье, проселочные дороги которого вспаханы огромными колесами тракторов «Беларусь» и позже «Кировцами».

Наш дом располагался на краю деревни, рядом со зданием «керосинки» — сельского магазина, где продавали керосин, олифу и краски. Чуть дальше — к железнодорожному полотну — поблескивала белыми цилиндрическими емкостями нефтебаза.

С левой стороны был наш прежний дом, который купили чужие люди, за ним был дом брата деда. Ильи Степановича Сенякина. Вообще-то наша фамилия Сенякины, но в долгих армейских путешествиях отца буква «е» как-то естественно поменялась на «и», и фамилия приобрела совершенно иной смысл, который в годы детства и юности доставил мне несколько грустных и неприятных минут. Вы сами подумайте, какую кличку можно придумать от фамилии «Синякин»? Вот то-то и оно, тоска, а не кличка! Разумеется, я старался ей соответствовать, оставляя синяки на лицах обидчиков. Они же поступали тождественно. Поэтому кличку свою я и в самом деле оправдывал:

Улица уходила вправо — там жили Белинины, Укустовы, Гузевы. На улице белели бетонные кольца артезианского колодца, рядом с которым жила, старуха Богатиха. У нее был огромный сад, в который мы пацанами лазили за яблоками и бергамотами. Чуть позже к Богатихе начала приезжать внучка по имени Татьяна. Не знаю, какое у нее было воспитание, но именно с ней у меня связаны первые сексуальные опыты, если такими словами можно назвать наши детские игры, переходящие в отсутствие бабки из зарослей терна в постель, расположенную в низкой темной комнате, окна которой занавешивали заросли пахучей сирени. Никогда больше не видел сирени, которая издавала такой запах, как эта!

Притихшие и опасливые, мы лежали рядом, осторожно трогая друг друга руками и открывая то, что раньше совершенно было неведомо нам. Нет, скорее непонятно, чем неведомо. В этом есть своя тонкость. В таких играх прошло два лета, потом Танька Богатова неожиданно появилась повзрослевшая и уже начавшая оформляться в девушку, а я безнадежно отставал от нее, оставаясь все тем же пацаном, ловящим раков под камнями пруда

у водокачки.

— Сережа, — грудным низким голосом сказала Татьяна. — Поймай мне рака!

— Щас! — отозвался я, лихорадочно шаря руками под очередным камнем и не отводя взгляда от ее тоненькой фигурки в купальнике-бикини. А может, это было не бикини, но мы называли такие купальники именно так.

— Не надо, — неожиданно разочаровавшись, сказала Танька.

Наверное, она просто разглядела долговязого и неуклюжего подростка, никак не вписывающегося в ее представления о мужской красоте, и чувство прежней влюбленности сразу прошло. Но скорее всего его просто не было, этого чувства. Была только возбуждающая душу память о прошлогодних нескромных играх. И она ушла, а я остался ловить раков в мутной желтоватой роде.

Вот так это было. Мне тогда исполнилось тринадцать лет. Я уже жил в Волгограде, а в деревню приехал на каникулы и сразу же устроился работать на Панфиловский элеватор приемщиком. Работа не особо сложная — приемщик потому так и назывался, что принимал машины с зерном, поднимал их на подъемнике и выгружал зерно в бункер, под которым катилась тяжелая черная лента транспортера. Наверное, я отличался усердием, потому что уже через несколько дней меня поставили транспортерщиком — теперь я должен был следить за тем, чтобы ленточные дороги транспортеров неустанно катились вперед. Для этого приходилось лазить в подземельях элеватора, где пахло зерном и мышами. Странное дело, но мы тогда в нарушение всех трудовых законодательств работали даже ночью. Иногда случались аварии, и тогда мы осуществляли разгрузку вручную — деревянными лопатами мы сбрасывали зерно из машин в бункера. Иногда таким способом приходилось разгружать десятка полтора машин, поэтому, приходя домой, я зачастую отказывался от литровой банки молока, огурцов и ноздреватого домашнего хлеба, заботливо оставленных бабкой на столе и прикрытых от птиц и наглых кошек эмалированным тазиком.

А потом, когда я высыпался после трудовой ночи, приходило время футбола.

На бывшем аэродроме, где садились когда-то «кукурузники» и куда, по слухам, прилетал в свое время единствен-

ный в деревне летчик, получивший звание Героя Советского Союза, мы устроили футбольное поле. Брусья ворот мы сделали из длинных бревен, которые под предводительством нашего бессменного капитана Вальки Крысанова ночью перенесли от железнодорожного полотна, где эти бревна были навалены в беспорядке. Сетки были старые, но настоящие футбольные — их

Валька получил в СПТУ и самолично штопал их, приводя в божеский вид. Разметку мы делали известью. Получилось очень даже прилично — поле поселкового стадиона, где рубились в футбол старшие товарищи, выглядело хуже.

Матчи начинались после того, как спадала жара.

В Панфилове было несколько команд. Одну из них возглавлял местный шишкарь по кличке Искус. Это фамилия у него была Искуснов. И надо сказать, что он фамилию оправдывал — пенальти и штрафные бил почти без промаха.

Ах наша футбольная команда образца шестьдесят восьмого! На воротах стоял я. Тогда это занятие настолько увлекло меня, что вместе с нашим фанатом Валькой Крысановым мы тренировались часами в самую жару. Валька бил по воротам, а я ловил мячи, напялив на себя сразу два свитера, чтобы было тяжелее, и для этих же целей не позволяя малькам, что сидели за воротами, бегать за мячом, когда Крысанов промахивался.

В защите Чаще всего играли непробиваемые Серега Стоксин по кличке Сэм и мой вечный соперник Толька Никон по кличке Никан. Кроме них, обычно играли Стариченко по прозвищу Кодя и кто-то из аэродромовских, чьи имена уже стерлись из памяти. Кажется, фамилия одного из них была Сорокин. Точно, его фамилия была Сорокин И у него был младший брат, который хорошо водился.

В полузащите играл сам Валя Крысанов и Валерка Каехтин по кличке Куе. Откуда у него была такая странная кличка, я уже не помню, вполне возможно, что кличка эта появилась от постоянного стремления Валерки снести кого-нибудь на поле или просто подковать на одну ногу.

А нападение! Нападение у нас было из технарей. Одним из нападающих играл Славка Халупняк, который так хитроумно водился, что мяч у него отобрать оказывалось практически невозможно. Рядом с ним играл Хахоннн по кличке Хахоня. Кстати, он стал единственным из кашей команды, который добился профессиональных высот и играл в какой-то команде второй лиги. Вдвоем они могли обыграть сразу несколько человек, оттого (и смею думать, что тоже был тому виною) команда наша славилась непобедимой, и все вечерние матчи обычно проходили с нашим перевесом. Я старался не пропустить, а Хахоннн с Халупняком обычно не промахивались, да и Валя Крысанов никогда не упускал возможности забить гол-другой, поэтому чаще всего наши соперники, которые со временем уже начали приезжать помериться силами из других деревень и хуторов, обратно уезжали посрамленными.

Когда над полем сгущались сумерки, мы заканчивали игру и

сидели под звездными небесами. В августе метеоры прочеркивали ночь чаще, чем в обычное время. Однажды мы увидели странное явление — с небес, медленно вращаясь, падало нечто, напоминающее диск с рядами иллюминаторов. Медленно поворачиваясь в воздухе, диск достиг черной неровной полоски далекой лесополосы и скрылся за ней. Что это было, мы так никогда и не узнали.

Ах, времена!

Отец Славки Халупняка в свое время работал в райкоме партии, когда еще Панфилове было районным центром, а потому имел неограниченный доступ к духовным благам. Естественно, что у него сложилась неплохая библиотека. Книг Славкин отец никому не давал, но я сумел втереться к нему в доверие и начал брать книги на дом. Вот тогда-то я и прочитал «Гриаду» Колпакова. До сих пор помню невероятное впечатление от нее. Тогда она казалась нам откровением, ибо повествовала о путешествиях в центр Галактики, о битве с Познавателями, о странных трехметровых метагалактианах, которые пересекали Вселенную на огромном космическом корабле в виде голубого шара. Помнится, эту книгу я читал подряд пять иди шесть раз, а мой дружок Санька Галкин, который еще жил на своем хуторе Макаровский, не только несколько раз перечитал ее, но и переписал от руки и даже сделал собственные иллюстрации. Конечно, тогда мы еще были глупы и не читали критиков, которые обрушились на бедного Колпакова и затоптали его за то, что он написал ненаучную сказку.

Еще у Халупняка-старшего была «Война невидимок» Шпанова, «Остров погибших кораблей» Александра Беляева в золотой виньетке «Библиотеки приключений и научной фантастики», тот самый знаменитый восьмитомник того же Беляева с его невероятными рассказами о профессоре Вагнере, а кроме этих книг, в библиотеке Халупняка-старшего имелась одна книга, которая на протяжении лет оставалась моей библиозавистыр — вологодский сборник Г. Гребнева с романами «Арктания» и «Южное сияние». Книга эта так мне больше и не встретилась, хотя библиотека Халупняка-старшего, наверное, показалась бы сейчас жалкой по сравнению с той, что занимает стеллажи моей квартиры.

Но тогда! Ах как это славно было тогда!

Книги. С ними неразрывно связана вся моя прожитая жизнь. Это сейчас детворе стало не до книг — играют в компьютерные игры или смотрят видеомагнитофон, количество кассет для которого перевалило число книг в сельской библиотеке. А тогда книги требовались для познания мира. Книги учили всему,

обязательному жизненному набору учила школа.

В панфиловской средней школе я учился до шестого класса. Потом родители переехали в Волгоград, и станция Панфилово стада лишь местом, где я проводил свои каникулы. Из учителей школы я помню свою первую учительницу Елизавету Яковлевну Козявину. Помню ее старенькой, наверное, она тогда уже и была такой. Елизавета Яковлевна жила в маленьком домике на той же улице Демьяна Бедного, где жили мы с родителями и где после переезда остались дед с бабкой. Помню, как мы собирались у Елизаветы Яковлевны вечерами и крутили на диапроекторе пленки, на которых нечто подобное современным мультфильмам, но состоящих из отдельных взаимосвязанных рисунков с текстами под ними, чередовалось с познавательными лентами, которые тогда выпускал а московская студия «Научфильм». Теперь я понимаю, что Елизавета Яковлевна и после школы занималась нашим воспитанием и обучением, но тогда эти вечера казались приятным времяпровождением.

Еще из учителей я помню учителя физики и географии по школьной кличке Глобус, которую ему дал и за мощный бритый череп, и учительницу пения по имени Татьяна с ангельски прекрасным лицом и тоненькими ногами. В это лицо я долгое время был тайно влюблен, но именно в лицо, потому что как личность учительницу я совсем не знал. Позже она вышла замуж, но замужество оказалось неудачным, муж ее пил и даже бил по этому прекрасному ангельскому лицу, — обычная судьба ангела в сельском захолустье, где пудовая грязь на резиновых сапогах обязательно тянет людей в прошлое, не давая им зачастую расправить крылья.

Помню еще учительницу биологии Чернову. Ее дочь — Ольга Чернова — училась со мной в одном классе. Потом уже, через много-много лет, судьба нас с Ольгой столкнула в Волгограде, и от этой встречи осталось несколько фотографий, на которых Ольга совершенно не похожа на ту девочку, с которой я когда-то учился в школе. Мать ее запомнилась мне тем, что однажды после веселой практики в школьном саду записала мне в дневник замечание «На уроке практики свистел и кушал арбузы». Сейчас это замечание вспоминается с улыбкой, но тогда я искренне убивался — как же так, ведь она вместе с нами ела эти арбузы, почему же она записала мне замечание? Как же так, ведь все вокруг свистели, почему же отметили меня одного?

А вообще, как оказалось, я неплохо помню детство. Еще у нас был учитель физкультуры Геннадий Петрович по клике Гыгы, которая ему была дана за идиотскую усмешку и еще более

идиотский смех. Он был худ и долговяз. Вторым учителем физкультуры был крепыш по фамилии Амочаев, как следствие своей фамилии он позже переехал в зерносовхоз «Амо», который, как нетрудно было догадаться, находился за Амовским бугром или иначе говоря — за кладбищем.

Школа жила своей жизнью, а мы жили своей.

Так продолжалось до двенадцатого апреля одна тысяча девятьсот шестьдесят первого года. Господи, спроси сегодняшнюю детвору, чем же так славен этот день, держу пари, немногие с ходу назовут знаменательное событие, положившее основание Дню космонавтики, — полет Гагарина в космос. Это сейчас к космическим полетам привыкли и они стали научной рутиной, в которой романтика отошла на второй план. Но тогда! Именно в этот день!

Утро было фантастическим.

Торжественный голос диктора — уж не Левитан ли это был? — сообщил, что впервые в мире на околоземную орбиту доставлен корабль, пилотируемый человеком. И этим человеком оказался майор Юрий Алексеевич Гагарин, который в космос взлетел старшим лейтенантом, а приземлился майором, только что ему было это армейское звание, если он приземлился первым человеком, побывавшим в космосе! Первым, черт побери!

Уроков в школе не было. Все смотрели в небо, еще не зная, что сообщение ТАСС прозвучало, когда Гагарин уже приземлился в заволжских степях. В деревенской библиотеке в момент расхватали все популярные книги по астрономии и космонавтике. Одним из изданий, пользующихся особым спросом, стал фолиант Гильзина «К далеким мирам», в котором был изображен фотонный корабль, стартующий к далеким звездам. Да, братцы, это был момент национальной гордости! Мы еще не вылезли из Колымских лагерей, из доносов, из разрухи последней войны, но уже смотрели на звезды.

Теперь они казались такими же близкими, как лампочки на невидимых в ночи столбах!

В тот день казалось, что Луна касается крыш домов. До нее можно было запросто достать рукой.

На стене Дома культуры, как высокопарно называли наш сельский клуб, появился плакат, на котором была изображена взлетающая в небо ракета, и Бог, сидя на облаке, испуганно говорил привратнику Петру:

— Пора удирать, дружок! Они уже вышли в космос!

Библия в те времена являлась запретной книгой, как газета «Искра» в период реакции самодержавия. У бабки хранился в сундучке затертый томик псалмов, передававшийся по женской

линии по наследству, и касаться его мне запрещалось под страхом жесточайшей порки.

Да плевать мне тогда было на эти религиозные тайны!

Более всего меня интересовали звезды.

В ракетном пламени проглядывало странное хрупкое сооружение из фанеры и полотна. Машину эту соорудили сумасшедшие от желания летать братья Райт. Да, Райт. Братья Вильбур и Орвилл Райт.

Их машина летала.

Фантастическое утро.

Из окна моего дома открывался прекрасный вид на придуманную мной крепостную стену средневекового замка. По стене расхаживал сонный стражник с бердышом на плече. Воздух был прозрачен и чист, словно душа ребенка. Он звенел от слепых прикосновений человеческого дыхания.

В прозрачной розово-черной бездне проплыло ажурное сооружение с белоснежными стрекозиными крыльями.

У синей полоски горизонта вспыхнула огненная стрела — упирающийся в звезды стремительный росток будущего.

Стражник на стене смотрел вверх и не знал, что пытается заглянуть в завтра.

Фантастика — это бегство от надоевшего рабства. Усталые рабы всегда замышляют побег. А от рабства никуда не денешься, от него можно сбежать только в место, которого нет. В любом месте, где мы появляемся, мы становимся рабами вещей и обстоятельств и начинаем жаждать очередной Утопии.

Утопия — это место, где от повседневности отдыхает человеческая душа.

Эскапизм. Бегство от действительности. В детстве мы еще не знали, что попытка к бегству всегда безнадежна. Повесть братьев Стругацких «Попытка к бегству» в шестьдесят втором году по причине своего малолетства я читал взахлеб, как космические приключения, хотя там было больше от трагедии, до которой я дорос через несколько томительных лет.

Благословенные шестидесятые годы. Это потом я узнал, что шестидесятые стали годами недолгой оттепели, что наш мир достиг своего пика развития и свободы и уже начал медленно опускаться в застой, который продлится почти тридцать лет, и именно тогда, когда в нашей стране, по подсчетам знатного кукурозовода и партийного строителя, должен был начаться коммунизм с его бесплатными туалетами из золота, в стране воцарилась вакханалия контрреволюции, в которой было пролито немало крови и еще больше — слез. По удачному выражению

писателя Евгения Лукина, я — некропатриот. Я люблю Отечество, которое спалили недоумки, возжелавшие власти. Моего Отечества больше нет. Осталась только память о нем.

Ах, шестидесятые!

Выход Гагарина в космос не мог не оставить отпечатка на наших душах. Все занялись ракетостроением. Ракеты мы клеили из ватманской бумаги. Сначала мы делали корпус в виде пустотелой трубки, к корпусу приклеивались стабилизаторы из белого картона. Ракеты разукрашивались акварелью, нос делался из пластмассового колпачка, а роль двигателя с успехом заменяла алюминиевая баночка из-под валидола, в которую вкладывалась старая фотопленка. Баночка закрывалась, а в корпусе ее делалось отверстие для истечения газа. Наши ракеты взлетали невысоко, на несколько десятков метров, но какое чувство восторга и гордости мы испытывали! Другие этого не поймут. Это надо было жить во времена Гагарина и Леонова, Титова и Быковича. Тогда каждого космонавта мы помнили наизусть, для нас они были героями. Это теперь в космос стали летать в таком количестве, что всех космонавтов невозможно запомнить даже при желании. И еще мы читали фантастику.

В школьной библиотеке я нашел «Мир приключений», а там напечатали повесть А Казанцева «Планета бурь». Позже уже она вышла романом под названием «Внуки Марса», но напечатанная в «Мире приключений» Повесть мне нравилось больше. И прежде всего из-за иллюстраций. Ах какие были иллюстрации в альманахе! С ума можно сойти! Во-первых, это изображение робота, потом сценка, когда на планетоход исследователей нападает дракон! Больше мне в этом сборнике ничего такого не запомнилось. Нет, вру! Вру, ребята! Там еще была сумасшедшая повесть-сказка «Пути титанов» Олеся Бердника. Как там? «Джон Эй мчал сквозь галактики…» Странное дело, тоже ведь написано про межзвездные путешествия, а запомнилось меньше «Гриады». Impression… Но Казанцев был хорош, читался на одном дыхании. Тогда я еще не знал, что пройдут годы, и Казанцев постепенно превратится в МС — мерзкого старикашку, который будет писать на молодых писателей рецензии, похожие на доносы, а еще он будет постоянно цеплять моих любимых Стругацких, ведь уже вышли к тому времени «Хищные вещи века» и «Далекая Радуга», в которой была напечатана повесть «Трудно быть богом», открывшая мне раз и навсегда глаза на мое будущее. Впрочем, тут я, пожалуй, опять вру — о своем будущем я уже все знал после того, как прочитал повесть «Должен жить» в восьмом выпуске альманаха «Мир приключений» и «Возвращение». К тому времени я уже украл «Возвращение» из библиотеки, и она потом

сопровождала меня в моих странствиях. Уже в конце века, когда всем стало ясно, что Мира Светлого Полудня никогда не будет, что все вернулось на круги своя и революцией эволюцию все-таки не подменить, я вдруг неожиданно для самого себя стал лауреатом Национальной премии имени А. и Б. Стругацких в области фантастики. Аркадий Натанович к тому времени уже умер, и премию мне вручал Борис

Натанович. Думал ли я, что когда-нибудь встречусь со своим кумиром лицом к лицу? Но со мной было «Возвращение», то самое первое издание, в котором была любовная линия со штурманом Кондратьевым, и поэтому она казалась мне более человечной, чем последующие издания. Я протянул книгу Борису Натановичу и попросил ее подписать, объяснив, что в детстве украл ее в библиотеке и сохранил, как до сих пор хранил идеалы, оставшиеся мне от того времени. «Сережа, — сказал Борис Натанович, — воровать книги нехорошо!» — и сделал на книге надпись, которой я горжусь даже больше, чем премией. Но это было потом.

С третьего класса я уже читал и любил фантастику. Любовь, что я ощутил к фантастике с семи лет, не только не угасла, напротив — она медленно разгоралась. Фантастика открывала удивительные миры. В них было интереснее, чем на пыльных улицах степного поселка.

Однажды — уже в шестьдесят четвертом — я читал повесть «Стажеры» братьев Стругацких, которых уже открыл для себя и полюбил их сразу и навсегда. Читая ее, я не мог отделаться от чувства знакомости — я уже начинал читать подобное, и иллюстрации к тому тексту, что я читал, были не в пример лучше. Потом вспомнил — повесть «Должен жить» в «Мире приключений». Ну конечно же, как я мог об этом забыть! Вспыхнувшая любовь не прошла до сих пор. Правда, теперь от бурного обожания я перешел к рассудительной нежности, но это неизбежно в любви, которая длится уже почти пятьдесят лет. Ко мне подошел худой горбоносый старшеклассник.

— Что ты читаешь? — строго спросил он.

И это была встреча, определенная судьбой. К парте, за которой я сидел, подошел Саня Галкин, большой любитель фантастики. Фантастика свела нас, и мы были рядом добрых три десятка лет, пока та же судьба подобно невидимому речному течению не разнесла нас в разные стороны. Кое-кто говорит мне, что Галкин был неудачником. Я так не считаю.

Это был удивительно талантливый человек, которому однажды не повезло, и этого ему хватило на всю жизнь.

Встреча эта оказалась первой, но отнюдь не последней. Но об этом потом. Как и о фантастике. Ведь не фантастикой одной был сыт читатель, отнюдь. Уже явились на свет «Коллеги» Василия Аксенова и его же «Звездный билет», уже начал писать свою молодежную прозу Гладилин, а еще вышел роман Гранина «Иду на грозу», переиздали «Вратаря республики» Льва Кассиля и еще много печатали всякого такого, не дававшего спокойно заснуть по вечерам.

Школа была двухэтажной, из желто-серого кирпича. Она располагалась в самом центре поселка на пересечении улицы Ленина и улицы Рабочей, к которым примыкала недлинная асфальтовая дорога, начинавшаяся от деревянного универмага и заканчивавшаяся около железнодорожного полотна. С левой стороны рядом с универмагом угрюмо темнел маслозавод, куда мы лазили за жареными семечками и жмыхом, а прямо напротив ворот маслозавода была площадь, в глубине которой находился маленький Дом культуры, где демонстрировались фильмы, проходили танцевальные и иные вечера. Именно из этого Дома культуры меня в четвертом классе вывел за ухо участковый Котеняткин, когда мы пробрались на вечерний сеанс, чтобы посмотреть кинофильм «Голубая стрела». Нет, никакой эротики в фильма не было, нормальный советский боевичок про зловредных шпионов и мудрых работников государственной безопасности. А вывел он меня только потому, что соплякам на вечерних сеансах нечего делать. Ишь моду взяли! Сегодня на вечерние сеансы лезут, а что завтра будет? Тогда за нашей нравственностью следили бдительно. Напротив школы белела маленькая почта, а около нее «дежурка» — магазин, который работал до темного времени. В дежурке продавались разные продукты, но основным продуктом являлась водка, за которой постоянно была небольшая очередь. Помню запах в магазине — в нем пахло мятными пряниками и лавровым листом. Когда у нас заводилось в кармане двадцать или тридцать копеек, мы отправлялись именно в «дежурку», а не в продовольственный магазин на улице Ленина. Не то чтобы выбор конфет в «дежурке» был большой, нет, все обычно сводилось к шоколадным конфетам «Ласточка» и трем-четырем видам карамели. Но не они нас привлекали, а такие прессованные брикетики — «Какао с молоком», стоившие десять копеек, и «Кофе» все с тем же молоком, но стоившие всего восемь копеек. Еще в магазине продавался ядовито-желтый лимонад, газ которого бил в нос. Рядом с дежурным магазином был киоск «Союзпечати», в нем мне киоскерша оставляла журнал «Искатель». Благословенный «Искатель» середины шестидесятых годов! Какой отдушиной ты был для меня. И стоил в те времена

ты всего двадцать копеек. Ради рассказов, опубликованных в нем, можно было поступиться двумя брикетиками прессованного какао!

До сих пор я вспоминаю это время с тайным удовольствием.

Каждый выпуск я ждал с нетерпением. Интересно, но именно тогда я был отнесен к интеллигентам — в киоск поступало всего два экземпляра журнала. Так вот, один экземпляр брал папа Славки Халупняка, а второй доставался мне.

В панфиловском универмаге пахло слежавшимися мехами, но нас в то время интересовал там один-единственный отдел — в нем можно было купить леску и крючки. Поплавки мы делали сами — из куги, а грузила отливались из свинца аккумуляторных пластин, которые собирались на территории СПТУ или мехколонны, расположенной по ту сторону железнодорожной линии. Все, что находилось там, так и называлось — за линией. Даже люди, которые там проживали. Мой приятель Вовка Чурбаков, двоечник и второгодник по кличке Шкурин, был из-за линии, а потому вызывал подозрения у деревенских Анискиных. Таковых поначалу имелось двое — Котеняткин и Дуличенко. По мере того как деревня теряла свой статус бывшего райцентра, работы у них становилось все меньше, и наконец остался один Дуличенко, который на моей жизни вырос от младшего лейтенанта до капитана и в этом чине ушел на пенсию.

Служба у них особо трудной и опасной не была, но драки и хулиганство иной раз случались, доставляя им определенное беспокойство. В деревне имелся свой неисправимый преступник — одноногий Алик, фамилии которого я сейчас никак не могу вспомнить. У Алика и в самом деле имелась только одна нога, вместо другой у него был протез из кожи и металла. Помнится, он его отстегивал в бане и шкандылял в зал на одной ноге, прикрывая шайкой могучий жилистый член, на котором синело расплывчатое неприличное слово. Помнится, мы еще спорили, что это было за слово, но для того, чтобы его прочесть, следовало увидеть член в эрегированном состоянии, поэтому о неприличности вытатуированного слова мы в основном судили по его синей краткости. На свободе этот самый Алик находился обычно недолго. Он появлялся из мест лишения свободы, некоторое время пил и отсыпался после выпивок. Тунеядцем его признать было нельзя, поскольку Алик являлся инвалидом. Попив и отоспавшись, Алик связывался со своими старыми дружками по ремеслу из Михайловки или Новоаннинска, и после недолгого планирования они обычно грабили какой-нибудь сельмаг, откуда вывозили все — от отрезов материала и водки до резиновых галош и слипшейся карамели. Через неделю дружков

арестовывали, а затем на несколько лет исчезал и Алик, благо за кражи тогда слишком много не давали. Мне до сих пор кажется, что преступления эти раскрывались исключительно благодаря тому, что Дуличенко бдительно наблюдал за одноногим Аликом и, как только в доме у него появлялись чужие люди, докладывал об этом по начальству. Все остальное было, конечно, делом техники. Других представителей уголовной преступности я не знал, пока не посадили Вовку Чурбакова. Кажется, его посадили тоже за кражу. Все в то время у неблагополучных людей выходило точно по «Джентльменам удачи» — украл, выпил и в тюрьму.

Достопримечательностью Панфилова являлись два дружка — Валя Аверин и Слава Якушев. Оба были спортсменами, оба играли в футбол. Валя Аверин был волосат, неимоверно силен, плечист и приземист. Естественным казалось, что он играет в защите колхозной команды. Слава Якушев выглядел артистично, ходил в лакированных туфлях, выставляя вперед грудь и отводя в стороны руки. Он и в футболе старался блистать, а потому всегда лез в нападение. Вдвоем они были способны разогнать половину Панфилова. Однажды так и случилось. Чигули, как называли учащихся СПТУ, затеяли очередную свару из тех, что позднее стали называть разборками. И вот эту визжащую, рычащую, как банда бандерлогов, толпу вынесло на Аверина и Якушева, которые мирно обсуждали свои дела. Это чигули хотели подраться, а Аверин и Якушев хотели продолжить разговор. Потому, наверное, драки и не получилось — выломав по секции забора каждый, Аверин и Якушев гнали их вдоль улицы. На следующий день все это стало легендой, которая все обрастала разными деталями, пока не превратилась в деревенский миф.

Валя Аверин был глуховат и иногда не слышал, что ему говорят. Этим пользовались различные наглецы. Сделав приветливой морду и потрясая приветственно рукой, наглец обычно негромко говорил:

— Валя — дурак!

— Привет, привет, — отзывался Аверин, ответно помахивая могучей лапой, и двигался дальше своей дорогой.

С ним было связано немало забавных историй.

Однажды в один из морозных февральских дней Валя, по своему обыкновению, блаженствовал на краю проруби, подставляя лохматую грудь морозному ласковому ветерку. Случайный прохожий, двигавшийся по плотине, заметил голое тело на льду и перепугался, что кого-то раздели. Однако едва он приблизился к замерзшему человеку, тот неожиданно пошевелился и сел. Нервы прохожего не выдержали, и он грянулся в спасительный обморок. Вале Аверину пришлось

прервать свой отдых и нести человека в больницу. Бежать босым по снегу ему пришлось около двух километров, и это произвело неизгладимое впечатление на всех случайных зрителей, которые, не видя аверинского лица, посчитали, что наблюдали похищение неизвестного снежным человеком. Пересудов было не на одну неделю.

И еще одна история. Валя Аверин копал могилки на Амовском бугре. Там находилось кладбище. Помирало людей тогда не слишком много, время было хорошее, а в хорошее время помирать грех или просто не хочется, вот Валя и копал свои могилки, что называется, впрок. К работе он подходил увлеченно и пропусков не допускал даже в выходные дни.

Однажды откуда-то, быть может, даже из Москвы, приехали родственники одного из покойников, долго и тщетно бродили по кладбищу и искали могилку родственника. Наконец один из приезжих в сердцах вскричал: «Да где же она все-таки есть, Ванькина могила?» Откуда-то из-под земли трубно спросили: «Коломийцева, что ли? Так она прямо у забора на втором участке!» Спринтерской скорости родственников, покидавших кладбище, мог бы позавидовать и Борзов. У одного из родственников даже случился инфаркт. А вылезший из свежевыкопанной могилы Валя Аверин никак не мог взять в толк — чего мужики убегают?

У каждого поселка есть своя история. Пусть даже этот поселок заброшен среди веков и пространств. История начинается там, где живет хоть один подверженный старости человек.

В Панфилове был свой генерал. Когда-то он воевал, потом его репрессировали, потом выпустили на свободу, потом опять репрессировали, и вновь пришло время, когда его отпустили. Сколько можно пробовать стальную проволоку на излом? В последний раз его освободили подчистую и разрешили даже носить генеральскую форму. Остаток жизни он занимался тем, что тратил свою пенсию на пиво и водку, и очень часто его видели лежащим в генеральской форме у пивного ларька. Странно, наш народ обычно очень смешлив и любит пообсуждать человеческие недостатки. Но над генералом не смеялись, и никто его не осуждал. Более того, мужики его поднимали и отводили домой. Понимали они, что даже сталь выдерживает далеко не все. Для генерала было бы лучше сгореть в огне войны или утонуть в болоте лагеря. Но он выжил. Только вот сломался. Кто его осудит, товарищи и господа?

Только не я.

Жизнь человеческая состоит из любви и ненависти. История — это воспоминания о прошлой любви и ненависти. И горе миру, в котором ненависти было больше, чем любви.

Все мы — кто жил до нас, кто живет сейчас или будет жить когда-то, — все мы похожи на метеоры, врывающиеся в земную синеву из черных звездных пространств. Сгорая, мы оставляем за собой короткий быстро гаснущий след, еще чаще исчезаем бесследно.

Кто мы на этой Земле?

Мы — фантастические рыбы.

Во тьме, близ Млечного Пути, мерцают исполинские тени Богов, вылавливающих наши души.

> В гибком зеркале природы
> Звезды — невод, рыбы — мы,
> Боги — призраки у тьмы![1]

Остановимся, чтобы отдышаться.

Был долгий день, полный биения пульса в крови, день, похожий на трепет воробьиного сердца, на порхающий мотылек свечи в протянутой сквозняком комнате.

Близится время тьмы.

Ради чего и зачем случилось чудо, которое называют жизнью?

Невероятно помыслить, но поколение за поколением мы ложимся в землю, и весь смысл нашего существования в этом мире состоял в том, чтобы продолжить род и увеличить число человеческих ошибок, являющихся основанием для всех изменений в человеке ли, в обществе или самой системе непостижимого нам Мироздания. Хочется, понять, чем мы отличаемся от жухнущей осенью травы, от тающего весной снега, от гаснущих в Вечности звезд? Чем мы отличаемся от окружающей нас пустоты?

С криком ожидания врываемся мы в мир. Уходим мы из него успокоенными и уставшими. Разочаровавшиеся в свете звезды — вот что мы есть. Звезды, уставшие светить.

Ребенок похож на кокон, обещающий яркокрылого махаона. Приходит время, и из кокона вылетает бледная капустница разочарования. Не помню, кто это сказал. Важно, что однажды это кем-то уже было сказано. Повторение чужого, если ты приходишь к нему сам, всегда означает, что ты на верном пути. Даже если следуешь заблуждениям.

Детство — это поле, полное многообещающих зеленых ростков. Где черта, за которой дети меняются и становятся

похожими на взрослых? В детстве мы все художники, обещающие фантастические картины. Почему, вырастая, мы превращаемся в заурядных маляров? Что происходит с нами? Что происходит с миром? Почему мы становимся несбывшимися обещаниями?

Я не философ, живущий категориями вечности.

Я знаю, что я смертен, и я знаю, что однажды умру.

Мысль эта не вызывает во мне животного страха. Чего бояться пылинке, которую гонит смерч?

Все реже хочется заглядывать в бездонную глубину будущего. Все чаще хочется вспоминать.

Смерть — это черта, которая отделяет еще не случившееся от уже невозможного. Она не страшна. За последней чертой нет ничего, кроме пустоты. Это последняя наша боль.

Где тот горизонт, к которому стремится моя душа?

Чем мне заплатить за прожитые дни на Земле?

Кто мне оплатит прожитое мной время?

Вспоминается, как умирал мой дед. Он ничего не ел, целыми днями лежал на постели, глядя в угол, где темнела икона. Иногда он вспоминал. Слушая эти воспоминания, я узнавал новое из жизни своей семьи. Мутные глаза деда, потерявшие блеск жизни, были спокойны и равнодушны. Дед уже устал жить. Он пережил три войны, индустриализацию, коллективизацию, послевоенную разруху и семейную жизнь. Удивительно ли, что душа его стремилась к каким-то неведомым заоблачным рубежам.

А я донимал его земными желаниями и все спрашивал, чего ему хочется. Деду ничего не хотелось, он попросил сварить уху, но съел всего две ложки, потом захотел узвару (так назывался компот из сушеных груш-черномясок), но сделал всего два глотка. Потом он вдруг потребовал коньяку.

Было смутное время. Горбачев боролся с пьянством и алкоголизмом. Как всегда, это приводило к противоположному результату. Люди гнали брагу и самогон, а на фабричном спиртном наживались продавцы, чье положение в обществе вдруг поднялось до немыслимых звездных высот.

Выше них были только борцы с хищениями социалистической собственности, к клану которых я тогда принадлежал. Представители ОБХСС для продавцов одновременно отождествлялись с Богом и Дьяволом, от них можно было ждать всяческих неприятностей.

Тогда еще не начали фальсифицировать спиртные напитки, шустрых кавказцев в городе было мало, а доморощенные жулики пока еще только раскачивались, поэтому коньяк, который я

принес, был превосходен.

— Всклянь! — слабым голосом приказал дед, и я налил стакан до краев.

Мы выпили.

Глаза дела начали медленно оживать. В них появился блеск. Ну конечно, он не был таким, как у искателей приключений или похотливых мужиков, но все же он, этот блеск, говорил о жизни.

— Дурак, — грустно сказал дед. — Я же помирать собрался, а ты меня обратно тянешь.

Странно было слушать его. В то время я ничего не понимал о жизни, я даже не представлял, что человеку может не хотеться жить.

Усталость человеческой души сродни усталости металла — и то, и другое всегда вызвано житейскими напрягами, рождающимися из проблем, которые невозможно разрешить. Трещины души говорят о неисправности окружающего мира.

Жизнь похожа на кросс по пересеченной местности: преодолев не обязательные препятствия, ты рвешь ленточку финиша и только потом начинаешь понимать, что смысл заключался именно в самом беге, в самом преодолении препятствий и пространств, а не в медленном движении за финишной чертой. Смысл был в рваном дыхании бега, а не в привычных движениях щек музыканта, играющего человеку последнюю мелодию.

Отдышись.

Все равно ты уже опоздал.

Раскрой черную книгу и найди на ощупь слова: «Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце».

Обидно уходить. Мы все неповторимы, как песчинки в пустыне, как капли в океане, звезды в небе, дождинки, из которых состоит радуга. С нашим уходом мир становится бледнее на единицу погасшей человеческой души.

Обидно уходить. Но мы уходим. Подобно всем, кто жил до нас, мы осыплемся осенней листвой в теплые ладони Вечности.

Был долгий день, полный счастливых и горестных минут, ты прожил его, до последней секунды не понимая, что тебе предстоит потерять.

Кто ты?

Одинокий бегун, приближающийся к неизбежному финишу? Заблудившийся во тьме всадник? Ребенок, научившийся ненужному ремеслу и разучившийся творить чудеса?

Ответа нет, но есть кладбищенская трава, которая знает все.

Мне много кого приходилось хоронить. Быть может, это правильно. Для того чтобы многих хоронить, надо жить долго. Хотя бы дольше тех, кого ты хоронишь. Дети должны хоронить родителей. Только так — а не наоборот. Эти слова я сказал Жене Лукину почти через тридцать лет после смерти деда, после того, как умер мой отец, в день, когда мы хоронили мать Жени Лукина. Она была драматической актрисой. Я не помню ее ролей, возможно, что я видел ее в каком-то спектакле семидесятых годов. Но я видел ее фотографию, она была красивой, как и подобает актрисе. И еще она была смешливой. На фотографии это угадывается с трудом, но красота видна каждому. Можно позавидовать ее мужу, который стал ее властелином и отцом Жени Лукина. Она была доброй.

Когда в роскошном гробу закапывали в землю желтую тень той, что когда-то была красивой актрисой, я вдруг вспомнил — сик транзит глория мунди! Ну да, сик транзит глория мунди! Хому нужен перевод?! Сик транзит, дамы и господа, сик транзит! Приходит время, и тот, кто казался незыблемым и обязательным в этом мире, оказывается беспомощным и ненужным. Сик транзит! Несостоятельна слава. Тень, которую закапывают в землю, ничем уже не похожа на человека, с которым связывают земное бытие. Нет живого человека, есть всего лишь тень, глупая тень, которая так же отстранена от его мертвого тела, как женщина, которая значилась невестой мужчины, но — черт ее побери! — так и не стала женой.

Хороня родственников, друзей и товарищей, ты хоронишь частичку самого себя.

Впервые я это почувствовал, когда в Калаче мы хоронили Сергея Петровича Гладышева — моего бывшего начальника, когда я работал в убойном отделе городского уголовного розыска. Он был хорошим товарищем, с ним связано многое, хотя наша дружба оказалась короткой. Вот что интересно — иногда люди, кометой промелькнувшие в твоей жизни, оставляют в ней более яркий след, нежели те, с кем ты шел по жизни рядом много лет. И дело не в том, что мы с ним раскрыли несколько убийств и вместе переживали обязательную несправедливость начальства.

«Зря ты уходишь, — сказал он, когда я собрался на пенсию. — Самые перспективы открываются».

Он ошибся. Я остался. Ушел он. И перспективы, которые его так манили, они тоже остались. Только уже для других.

И когда черный рот могилы до краев наполнился глиной и землей, когда над свежим холмиком вырос деревянный крест, вокруг которого положили непростительно обязательные венки, я

вдруг почувствовал сожаление и тоску. Прошлое ушло, все, что было связано с этим человеком, отныне для меня осталось лишь в памяти.

Потом я похоронил Николая Мигрина — фаната от уголовного розыска. И опять я похоронил вместе с ним частицу своей души. Ведь наша душа и в самом деле складывается не только из отношений к самому себе, она складывается из взаимоотношений с другими людьми и всем остальным миром. Теряя кого-то из своих знакомых, ты становишься беднее на единичку его души.

И это невосполнимые потери. Быть может, наше старение и есть следствие душевных потерь. Эрозия души, ветер времени разъедают человеческие души до тех пор, пока от них не остается чернозем, не слишком пригодный для прошлой жизни, но необходимый для того, чтобы появились всходы новых.

Но, братцы мои! Каждому хочется остаться.

Подобно всему существующему во Вселенной, мы проходим весну рождения, лето любви и работы, осень увядания и зиму смерти.

Пусть обрести бессмертие суждено лишь духу немногих, каждому хочется остаться. Оттого нам так хочется верить в загробный мир, оттого мы пытаемся продлить свое существование на Земле, оттого мы совершаем немыслимые поступки, стараясь хоть ими остаться в памяти тех, кто будет жить после нас.

Не хочется думать, что смысл нашего существования заключается во временных координатах, обозначенных датами на памятниках, к которым вначале приходят часто, потом раз в год, потом все реже и реже и наконец дают зарасти могилам неистребимой и воистину бессмертной кладбищенской травой. Место, где все равны — бездомная старушка, уснувшая под земляным холмом, цыганский барон, задыхающийся под тяжестью собственного памятника, отлитого из бронзы, похороненный с королевскими почестями вор в законе, чиновник, закрывшийся гранитной плитой, — у праха нет отличия перед землей, пришедшие из праха, однажды мы возвращаемся в него.

Нагими и слабыми приходим мы в мир, нагими и немощными его покидаем, даже то, что когда-то принадлежало исключительно нам, с нашей смертью начинает принадлежать другим. Любая человеческая жизнь неразрывно связана с рождениями и смертями. Но все-таки в ней есть нечто такое, что наполняет жизнь смыслом, и это нечто с собой не унести, даже когда приходит время уходить.

С собой не унести…

Кажется, ты еще бодро идешь вперед, что грудь твоя полна воздуха, что дорога впереди значительно длиннее оставшейся за спиной. Мой друг, это всего лишь обманное впечатление.

И всего, что было, с собой не унести.

Не унести апрельских ручьев, похожих на вздувшиеся жилы земли, не унести радостного гвалта грачей на чернеющих полях.

Не унести чистоты родниковой воды, стекающей в Дон, где в зарослях туманно колышущихся водорослей высверкивают ждущие своего стремительного часа торпеды щук; не унести с собой песчаных пляжей, лениво уходящих в теплую воду, в которой вьется бесчисленное поголовье мальков, зеркально повторяющих стада комаров над водой.

Не унести вечерних лугов, спелых звезд и луны, выгнувшейся над горбатым черным стогом травы, в пряном запахе которой смешались ароматы клевера и мяты, душицы и зверобоя, полыни и иван-чая, не унести ночных костров, в которых запекалась картошка.

Не унести с собой зимнего одиночества, отражающегося в причудливых морозных узорах на обжигающе холодном стекле, новогодних сверкающих елей, украшенных волшебными разноцветными шарами, хрустящих сугробов и белого дыма, встающего по уграм над заиндевевшими домами.

Не унести радости и тоски, не унести с собой прочитанных однажды книг, друзей, любимых, родных — всего того, что окружало тебя, составляя загадочную и непостижимую галактику твоей души.

Уходя, мы навсегда оставляем этот мир в наследство потомкам. Нагими мы приходим в мир и нищими его покидаем, даже то, что принадлежало нам и только нам, остается другим.

Но навсегда унесется с собой горечь разочарования, с которым мы его покидаем. Это единственное, что мы с собой уносим…

Каждому хочется остаться.

Не уйти в царство шепчущих теней, а остаться среди живущих. Вся человеческая жизнь есть не что иное, как попытка утвердить себя в будущем.

> Бабочки дней улетают
> и в руках остаются
> одни очертания бегства…[2]

Вот на фотографии я — юный, батник нараспашку, мир

впереди и уверенность во взгляде, и лицо еще чисто от морщинки белые звезды еще не усыпали волосы.

Я взошел на корабль, чтобы совершить плавание. Где горизонт, к которому стремится моя душа?

Туман.

Суета сует, и на вопросы мои нет ответов. Страшно и заманчиво подумать, что случайный толчок несбыточного мог сделать мою жизнь совершенно иной, не похожей на прожитую. Страшно и заманчиво подумать, что всего одно мгновение, прожитое мною иначе, могло навсегда изменить всю мою короткую Вечность.

Память постоянно проигрывает варианты. Сожаление о несбывшемся — это вечный вариант безнадежного побега из Реальности.

Есть Книга, которую мы читаем всю жизнь. Нет, это не Библия; религия — это рак души, она паразитирует на человеческой вере и надежде. Вечная Книга — это наша память.

Моя жизнь, как жизнь любого человека; есть сцепление миллионов случайностей. Память — это рукопись, которую, как правило, приходится читать только автору.

Наши воспоминания — кораблики, плывущие из нашего прошлого в наше настоящее. Векторное производное нашей души..

Дни были бесконечными, и ночи были коротки, словно полет пули. Теперь все иначе: недели свистят неразличимыми осколками, а ночи вообще незаметны; и жизнь все ускоряется, ускоряется так, что понимаешь — этому ускорению нет предела. Но он все-таки есть — последняя черта, за которой будут подведены итоги всем спорам, та, за которой мы поймем, есть ли там что-нибудь, кроме тлена и темноты. Обитая бархатом или кумачом дверь Вечности, в которую предстоит стучаться моей душе, с каждым днем все ближе.

За годы работы в милиции я привык к виду смерти. Рано или поздно привыкаешь ко всему. То, что когда-то было страдающим человеком, для меня представляло объект преступления, абсолютно несоотносимый с погибшей человеческой душой. Страшные изменения духа, но не окончательное одичание — судмедэксперты относятся к телу как к объекту исследования. В морге тела свалены кучами, и каждое из них ждет вскрытия для выяснения причин, каким образом была освобождена от плоти человеческая душа.

В морге всегда витал приторный сладкий запах тления и

формалина, но патологоанатомы запаха не чувствовали. Они пили водку и закусывали ее колбасой. Поначалу мне казалось невозможным закусывать в морге, душа не принимала ничего, кроме соленого огурца. Постепенно я привык. Быть может, в постоянном привыкании к гнусным реалиям жизни и заключается деградация души?

И еще раз о смерти деда. Перед смертью дед уже не вставал. Когда приходилось поднимать его, то мы с отцом с трудом ворочали тяжелое непослушное тело вдвоем. Потом дед умер, и я пришел за ним в морг. Из холодильника до гроба его нес я, завернув холодное стылое тело в одеяло. И что же? Оно было удивительно легким, словно со смертью дед отринул все тяжелое, что ему досталось в жизни, — гражданскую, финскую и немецкую войну, плен, послевоенную колхозную разруху, горбом доставшийся и проданный за бесценок дом, все разочарования, накопленные при жизни. Быть может, попы все-таки правы и тело деда стало легче на величину его души?

Все перепуталось в мире, и порой смерть становится горьким лекарством от одиночества и тоски.

Да что мы о грустном!

Вспоминаю начальные классы. Учились мы вдали от основной школы в одноэтажном здании бывшего райисполкома, состоящего из двух крыльев. В одном крыле шумели классы, в другом тихо, жили интернатские — дети из близлежащих хуторов, в которых не было школ. Понятное дело, каждый день за несколько километров не наездишься.

Интересно, но пусть прошло много лет, я все-таки помню значительное число одноклассников — среди них Толька Никон и Славка Халупняк, Валя Ребрина и Валя Филатова, мой дружок Васька Дедовский и Саня Самсонов, и первая любовь Валя Павелко, из-за которой в четвертом классе мы с Никоном не раз сходились на кулачках, и бледная отличница Валя Звонова, утонувший гораздо позже при спасении брата Генка. Коробов, незаметный Саша Четверкин, дружки Вова Земляков и Саня Карпов, и неистовый Валерка Каехтин, и жившая с ним рядом Лида Минаева, которая чем-то походила на медвежонка, томная и плавная Людка Голынская, жесткая как придорожная трава Любка Сизова, пришедший чуть позже второгодник Вовка Чурбаков, знаменитый Шкурин, который принес в класс настоящие боксерские перчатки и научил меня драться. Еще я помню могучую Аню Селиванову, которая занималась боксом вместе с нами и однажды нокаутировала Валерку Каехтина. Уже в более поздние годы она прославилась тем, что ее попытался

изнасиловать какой-то чудак в парке перед киноплощадкой. Народ быстро собрался на неистовые женские, крики о помощи и увидел, как Анна, сидя верхом на бесчувственном уже мужике, награждает его ударами по посиневшей морде и зовет на помощь. Какой-то сердобольный из толпы сказал: «Так чего ж ты на помощь зовешь, деваха? Совсем его, что ли, добить?»

Детство состояло из нескончаемых «Трех мушкетеров», футбола, фантастики, легкой влюбленности, дружбы и недружбы, рыбалки, драк и всего остального, что постепенно делало нас людьми.

Если я кого-то не вспомнил, простите меня. Память человеческая и без того слаба, а с каждым годом она подводит меня все больше и больше. Каждый из этих людей внес что-то свое в понимание мною мира и обстоятельств, в которых мы жили.

Мы жили довольно дружно. Стычки с Никоном из-за Вальки Павелко не в счет, все равно усилия обоих остались безрезультатными, да и не могли они быть иными по причине нашего малолетства.

До все-таки! Да что там говорить, приятно вспомнить!

Иногда напротив железнодорожной станции останавливался на рельсах вагон-клуб, призванный нести культуру в массу. Днем за пятачок там показывали детские фильмы и мультяшки про Самоделкина и Незнайку. Мы стояли в очереди, зажав пятачки в потных ладошках, а потом задыхались в узком душном вагоне, впиваясь взглядами в маленький экран, на котором демонстрировалось очередное чудо — например, какой-то литовский фильм, кажется, он назывался «Чертова мельница». В этом фильме флегматичные прибалтийские привидения носили головы под мышкой и пугали честных селян. И еще мне там довелось посмотреть цветной фильм «Тайна двух океанов». Помнится, мы все были под впечатлением. Через некоторое время я прочитал роман Адамова и поразился тому, как выхолощена в фильме книга.

До сих пор хочется еще раз посмотреть «Планету бурь» и, конечно же, «Алые паруса» с прекрасной Анастасией Вертинской в роли Ассоль. Странное дело, я относился к поколению, которое уже ничего не знало о знаменитом Пьеро — Вертинском. Для меня он так и остался не шансонье, а просто отцом несравненной Анастасии, в которую я был влюблен до седьмого класса, прекрасно осознавая всю безнадежность своей влюбленности.

Ее сестра Марианна тоже была красивой. Но это была просто красота, а в Анастасии жило ощущение чуда, словно ты вышел на балкон и увидел медленно плывущее НЛО, с которого тебе

приветливо машут руками инопланетяне.

Кроме этого, был Дом культуры, но там вечером дежурили милиционеры, которые следили за тем, чтобы пацаны не попадали на вечерние сеансы. Невозможность посещать вечерние сеансы мы компенсировали летом, когда открывалась киноплощадка. Из всех фильмов, которые там показывали, я запомнил «Подвиги Геракла» с югославским культуристом в главной роли. Он был бугрист от мышц, а потому ему не надо было играть — достаточно было напрячь бицепсы и трицепсы. Кроме этого, частенько шли «Парижские тайны» с неподражаемым Жаном Марэ — кумиром девочек шестидесятых годов. Он выглядел мужественно, этот красавец с волевым подбородком, уже став взрослым, я был шокирован, узнав, что во Франции он был долгое время председателем французского общества гомосексуалистов. Вот еще один довод против всеобщей и всеохватывающей гласности — узнавая что-то новое о своих кумирах, порою начинаешь испытывать презрение к миру. Лучше было бы оставаться в неведении и знать, что, например, Параджанова ценят за то, что он снял в своей киножизни, а Жана Марэ за его великолепные роли, а не за мускулистый и крепкий зад.

Впрочем, мое мнение, как мнение всякого гетеросексуала, является субъективным. Менять я его не хочу, однако и навязывать никому не собираюсь. Еще один раз меня поразил Сэмюель Дилэни. Этот негр с грустными глазами, писавший великолепную фантастику… Черт, ну что же они все? Обидно за мужиков. Да и за женщин тоже. Теперь я понимаю, почему у него грустные глаза. Не те прелести мужик ценит, оттого и тоска.

Я всегда считал, что все зависит от точки отсчета.

Вот, например, толстенный роман «Звездоплаватели» Г. Мартынова. В начале шестидесятых, когда никто толком не знал, как монтируются, а тем более делаются космические корабли, книга читалась взахлеб. Вероятно, возраст тоже был тому виною. Я перечитал ее уже в зрелом возрасте — и что же? Осталось ощущение наивной провинциальности. Все это соперничество с американцами и полеты в качестве соревнования двух социальных систем не вызвали у меня доверия. Страницы же, посвященные жителям Венеры, и сейчас читаются хорошо.

Изменилась точка отсчета, а с ней и отношение к роману.

Но, черт возьми, уже в том же тридцатипятилетнем возрасте я увидел Анастасию в фильме «Безымянная звезда» все с тем же Михаилом Козаковым в качестве мужа, и сердце защемило от тоски и несбыточности детской мечты о необыкновенной любви.

Впрочем, это ощущение, видимо, тоже родилось из-за точки отсчета. Фильмы детства тому способствовали.

В конце концов, все наши мечты — это все те же гриновские «Алые паруса», которых мы никогда не дождемся.

Значит, будем проживать нашу жизнь, как и положено обывателю, — размеренный ход нашей жизни нарушит лишь безвременная или долгожданная смерть.

* * *

Между прочим, обыватель — это совсем не обидное определение человека, как я думал в детстве. Обыватель — просто человек, проживший обыденно обычную жизнь, занимавшийся своим делом, народивший детей, посадивший и взрастивший дерево, стачавший пару башмаков или, на худой конец, написавший книгу.

Куда страшнее мещанин, поставивший использование всех благ жизни самоцелью. Вот у него стремления так стремления, и стремления эти страшны, потому что достижению этих благ мещанин посвящает всю свою жизнь, и при этом нет таких средств и методов, которые его бы отпугнули. Видимо, потому среди мещан так много маргиналов. Маргинал это чаще всего мещанин, который при движении к своей цели потерпел поражение и был отброшен в задние ряды.

А мы — обыватели. Мы просто живем, как живет трава. Мы строим дома, пишем книги, пашем землю, ловим воров и убийц, охраняем свою землю от зла, любим и ненавидим, радуемся и грустим, оставаясь все тем же черноземом, на котором взрастет будущее.

Когда я был во втором классе, наше семейство отправилось к бабе Саше в Вологодскую область. Родители отца были у меня перед глазами. Родителей матери я не знал. Баба Саша жила в деревне Андронцево в нескольких десятках километров от самой Вологды. Тогда я еще не знал, что бабушка у меня не родная, родная уже умерла. Как и мой дед. А эта была мачехой, которая навсегда осталась с детьми любимого человека, каждого из них воспитала и каждого довела до ума. Мама как-то признавалась, что вкус мороженого и шоколадных конфет она узнала уже после замужества. Это и понятно, откуда в Андронцеве, где не было ни одного магазина, взяться шоколадным конфетам или мороженому?

Мы ехали через Москву с ее обязательными эскимо, зоопарком и не менее обязательной суматохой. В зоопарке я

почему-то запомнил змей в стеклянных ящиках, пони, на котором каталась детвора, и задумчиво курящего шимпанзе.

Вологда потрясла меня обилием церковных куполов, рекой с одноименным названием, которая протекала через город, и мостом через эту реку. Мост был выстроен на восьмисотлетие Вологды. Под ним громоздились плоты из строевого леса.

В Андронцево мы добирались на грузовой машине, сидя на гробе, который везли для похорон какого-то человека. Помню, что ехали мы через брод. Машина, разбрызгивая фонтаны воды, устремилась на берег, и вскоре нас высадили на лугу с удивительно низкой и яркой травой. Впереди было несколько деревянных домов. Это и было Андронцево. К тому времени в деревне жили всего несколько человек. Бабушка Саша была одна. У нее был странный и непривычный нам дом, разделенный на две части. В одной из них жила бабушка, в другой жевала траву и печально вздыхала корова. Ночью, когда приходилось пойти по нужде, эти вздохи внушали мистический ужас. Хотелось забиться на полати и накрыться одеялом с головой.

В огороде стояли ульи, к которым то и дело возвращались тяжело нагруженные пчелы. У соседей топилась банька по-черному. Роль нагревателя в этой бане играли раскаленные камни. В такой баньке парились с веником, а потом обливались холодной водой. Когда отец меня облил впервые, я закричал от ужаса.

Чуть ниже текла маленькая лесная речка, которая называлась Синдошкой. Перед деревней она делала поворот, и на повороте образовался омут, в котором ловили рыбу. Красноперку здесь называли сорогой, щука и окунь своего названия не поменяли. Рядом с деревней посередине реки чернел камень, на котором мы с сестрой любили загорать. С этого камня я безуспешно ловил уклейку — рыбки объедали наживку прежде, чем я ухитрялся вытащить хоть одну из воды.

За рекой темнел лес. Лес был смешанным, поросшим мхом и папоротником. В этот лес мы ходили собирать грибы.

Удивительно синим казалось неба Лица бабушки Саши я совершенно не помню. Примус, на котором мы жарили ленивых карасей, которых ловили в близлежащем пруду, помню хорошо, зеленовато-красную с белыми проплешинами и удивительно пахучую землянику помню хорошо. Муравейник около тропинки, ведущей к речке Вологде, помню. А вот лица бабушки не помню. Помню, как бабушка Саша брезгливо щурилась на карасей и называла их лягушками. Рыбой назывались только те чешуйчатые скользкие существа, которые жили в проточной воде реки. Помню морщинистые щеки и седые волосы выше резиновых сапог, в

которых она ходила.

От бабушки Саши в памяти осталось лишь ощущение старости.

Странная человеческая память — она выхватывает из прошлого второстепенные детали, оставляя в тени главное. Наверное, это происходит потому, что с второстепенными деталями легче философствовать. Мысль — это неуловимая серебряная уклейка в реке, блеснув, она исчезает в никуда.

До четвертого класса жизнь моя протекала без особых потрясений.

Я ходил в школу, играл с друзьями в мушкетеров, ездил на рыбалки, большей частью, конечно же, неудачные. И еще я читал. Жизнь моя того времени неразрывно была связана с книгой. О благословенные детворой «Каллисто» и «Каллистяне» Г. Мартынова! И еще я открывал для себя «Путь на Амальтею» и «Страну багровых туч» братьев Стругацких, холодную и прекрасную, как ювелирное изделие, «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, в мою жизнь вошли Альтов и Журавлева, Днепров и Сапарин, Варшавский и Аматуни с его «Тайной Пито-Као», ну, конечно же, Виталий Мелентьев с его повестью «33-е марта», рассудительный и имевший определенный литературный дар, но такой пресный Немцов, Томан с его шпионскими и антивоенными памфлетами, я познакомился с Думчевым из Страны дремучих трав Владимира

Браги на, восхищался «Человеком-лучом» Михаила Ляшенко. Нет, удивительные книги рождались в шестидесятые годы! Я бродил ночами по планете Видящих Суть Вещей, думал о горовском мальчике, восторгался угрюмым Быковым, а впереди была Пандора, чудовищная Волна на планете Радуга, и. уже бродили по Вселенной загадочные Странники. Казалось, что до светлого завтрашнего дня, каким он был описан братьями Стругацкими в повести «Возвращение», подать рукой. Уж мы-то до него обязательно доживем, до этого мира Светлого Полудня. Да что там — доживем, мы еще поживем в нем, обязательно поживем!

Была уверенность во всемогуществе техники и людей. Верилось, что до Марса рукой подать, а на Луне уже в ближайшие десятилетия будут построены базы землян.

Утверждают космонавты и мечтатели, Что на Марсе будут яблони цвести…

Это из фильма «Мечте навстречу».

В это верилось и с этим гораздо спокойней жилось.

Жизнь мне портил лишь Пашка Щербаков по прозвищу

Пахланя. Он меня за что-то невзлюбил, а может, ему просто нравилось издеваться над беззащитным, и именно потому он ловил меня, где только возможно, и бил. Робкие попытки дать ему сдачи поначалу не имели успеха. Он был просто сильнее. Но в четвертой классе я ему дал! Я бил его, пока он не упал, а когда Пахланя упал, я взял камень и стал бить его камнем по голове, пока кто-то закричал: «Робя! Это же зверь! Он же его убьет!», — и не позвали мою сестру, которая тогда училась в девятом классе. Наташа оттащила меня от Пашки, и правильно сделала — в противном случае я бы его убил, слепо и безрассудно мстя ему за все унижения, которые он мне причинял в течение трех с половиной лет. Но он остался жить, и даже удары камнем по голове ему пошли на пользу — Пахланя резко поумнел и больше уже не приставал ко мне со своими глупостями.

Нет, еще до этого боя, который, возможно, определил мою будущую жизнь, я частенько дрался, но не так, чтобы обрести уверенность в себе. Не надо стремиться быть сильнее других, но всегда надо уметь давать отпор тому, что стремится к силе. Чувство уверенности рождается из ощущения победы, в противном случае мы всегда имели бы дело лишь с неудачниками.

Через двадцать лет я случайно встретил его в городе на трамвайной, остановке. Пахланя увидел меня и узнал, в его глазах явственно ожил страх.

А я, пожалуй, искренне был рад встрече с ним, он, мой враг и мучитель, побежденный мною в неравном бою, принес мне весточку из моего далекого прошлого.

Кстати, о сестре Наталье, которая разняла нас в тот памятный день.

К тому времени она училась в девятом классе. Как у всякой красивой девчонки, у нее были поклонники, которые постоянно кружили вечерами около нашего дома, выясняли порой отношения между собой. До седьмого класса мы с ней постоянно дрались. Она была старшей. Поэтому ей хотелось, чтобы я признавал ее старшинство и авторитет, мне же этого делать совершенно не хотелось. Поэтому так часто случались конфликты. Но это не мешало нам по большому счету любить друг друга, и наши разногласия й конфликты не мешали нам объединяться против родителей, когда они, по нашему мнению, допускали несправедливости в отношении нас. Тут уж мы действовали слаженно и дружно. В таких же отношениях находятся сейчас и мои дети. Я ловлю себя, что характерами и поведением мы очень похожи. Чему удивляться, ведь это мои дети.

По вечерам на скамейке перед домом слышалось басовитое воркование и звонкий смех сестры. У нее был длинный нескладный горбоносый парень, которого звали Вовка Волков. Он был ее одноклассником. Они дружили. Тогда это называлось именно так.

Я жил на станции Панфиловр до шестого класса и учился в средней школе. Странное название — средняя школа. Школа, в которой учатся усредненные люди. Усредненным быть не хотелось. Эпоха развития личностей завершилась вместе с; революцией. После тридцатых годов возобладал принцип — не высовываться. Даже актеры стремились к усредненности. Те, кто был личностью, являлись исключением.

Во время застоя усредненность стала обязательным правилом. Правило это душило, но оно было непреложностью. Те, кто вылезал за среднюю черту, мог попасть под бритву тюрьмы иди оглушающую булаву дурдома.

Черт побери!

Спустя тридцать лет я вновь побывал на станции своего детства. И что же?

Была весна. Люди все так же месили неподъемную грязь резиновыми сапогами. Многие из тех, кого я помнил, умерли, а живые стали хуже. Впрочем, я сам изменился. Наверное, не в лучшую сторону.

Стало ясно, что конец века, представлявшийся нам в детстве сверкающим и летающим, закончился в будничной житейской грязи.

Развалили страну пьяные идиоты, возжелавшие власти, прежние знамена сдали в музеи, над просторами моей бывшей Родины заполоскались разноцветные знамена, многочисленные друзья оказались по другую сторону границ. Я стал гражданином несуществующей страны, программа XXI съезда КПСС, обещавшая светлое будущее, стала полноценной фантазией, многое из того, что почиталось чистейшей фантастикой, буднично и незаметно вошло в жизнь человечества, а на станции Панфилово все осталось прежним. Строители светлого коммунистического будущего уныло строили не менее светлое капиталистическое завтра.

И ничего не изменилось!

Вместо Ту-104 появились Ту-144, но мы-то мечтали о ракетопланах и экранолетах! Вместо круглой кабинки «Востока» в космосе — пока еще! — плывет округлая кабинка «Союза». Но мы-то мечтали о звездных кораблях! Космонавтов стало столько, что

фамилии их стало невозможно удержать в памяти. Атомную бомбу заменила нейтронная. Вместо десанта на Марс и Венеру мы высаживаем десанты в бывший советский город Грозный, кровь мешается с грязью и снегом, и в наших ребят стреляют бывшие первые секретари чеченских комсомольских организаций, которым, как и зажиревшим московским партократам, захотелось в князья. Появились видеомагнитофоны и компьютеры, но никогда уже не будет описанных в фантастике роботов. И с этим тоже надо как-то мириться.

А все произошло потому, что не изменилась суть человека.

Вместо творца в душе многих и многих продолжал жить все тот же хапуга. И вот этот хапуга пришел к власти, захватил все, до чего только смог дотянуться, на долгие годы закуклил время и начал жиреть, подминая в людских душах романтику.

На смену революции пришла не менее победоносная контрреволюция.

Душа этого не принимает. Но приходится жить.

Стреляются только неисправимые идеалисты. Когда тебе под пятьдесят, об идеализме смешно говорить.

Уходят романтики. Их место занимают прагматики.

Идеалом постепенно становится сытость, эталоном — двести сортов колбасы. Фантастика постепенно уступает свое место кровавому детективу. Мы пришли в будущее, еще не зная, что нас там ожидает далекое прошлое.

Грустно, читатель. Я чувствую себя как в детстве, где тебя манили конфеткой, а подсовывали горькое и невкусное лекарство.

Меня не покидает чувство, что меня нагло и бессовестно обманули, показав на мгновение и спрятав в карман Будущее, к которому стремилась моя душа. Душа жаждала понедельника, который начинается в субботу, меня же подвели к луже, показали, как в ней отражаются звезды, и ткнули мордой в окружающую лужу грязь, сказав, что это моя действительность и что мне предстоит жить именно в ней.

Кросс по пересеченной местности

Я был начитанным мальчиком. Даже успел прочитать хранящийся в тумбочке «Один день Ивана Денисовича» тогда незнакомого мне Солженицына. Правда о репрессиях постепенно проникала в мир. Появились первые люди *оттуда.* Однако вслух эту книгу еще не решались обсуждать. Отец давал ее своим знакомым. Возвращая книгу, они неопределенно говорили: да-а-а, было же такое! Первый росток лагерной литературы. Правда была нужна, она была необходима нашему обществу, но из этой книги растут книги нынешней свободы — о ворах и законах зоны. Такие книги привнесли в нашу жизнь лагерную философию одиночек, постепенно заменяя «все как один умрем» осторожным «умри ты сегодня, а я завтра». Ядом была напитана жизнь, яд вливался в наши головы с книгами, все постепенно менялось, и не в лучшую сторону.

Процесс над Синявским и Даниэлем знаком мне был по газетам. Больше всего меня поражали выступления людей, в которых говорилось, что книг Даниэля и Синявского они не читали, но гневно осуждают писателей за то, что они искажают нашу советскую действительность и клевещут на нее. Мне хотелось безумно прочитать эти книги, чтобы попытаться все понять самому. Но прочитать эти книги было негде. Прошло время, я прочитал книги охаянных в то время людей. И что же? Собственно, я не понял, что в этих книгах было страшного. Ну написали. Хорошо написали. Надо было печатать. От того, что люди это прочитали, мир не перевернулся бы. Мир перевернулся как раз из-за того, что написанное объявили запрещенным. Мир всегда меняется в худшую сторону, если жизнь начинают обкладывать различного рода запретами. За колючей проволокой все и всегда обязательно видят свободу. Никто не понимает того, что это всего лишь тот же самый мир, но по ту сторону забора. Если смотреть правде в глаза, то осужденный и охрана всегда живут за колючей проволокой, только каждый из них живет по свою сторону.

Между прочим, до Синявского с Даниэлем был Тарсис. Здесь его сажали в дурдом, но и за рубежом быстро выяснилось, что это сумасшедший. «Голос Америки» сообщил, что Тарсис лечится в клинике у известного швейцарского психиатра. Мессии из психа не получилось.

Как было не поверить тому, что писалось в газетах? Мы все тогда росли в доверии к печатному слову. В стране, которая, семимильными шагами шла куда-то вперед, и не могло быть

иначе.

Вранье постепенно становилось нормой жизни. Воспринимали мы это вранье как чистую правду. Вранье тоже было семимильным.

Обман…

Мы все изолгались. Наш мир полон вранья.

Включите телевизор — и вы увидите, как очередной Президент обещает бороться за всеобщее счастье и клянется лечь на рельсы, если эта борьба окажется неудачной. Многочисленные клипы до тошноты рекламируют абсолютно ненужные нам товары. Олигархи грозятся облагодетельствовать народ, и это означает, что пора присматривать себе место на кладбище. Вместо Родины нам выдали ничего не значащие бумажки. Родину кто-то оставил себе. Вместо настоящей работы нам дали базар и сказали, что это и есть работа, достойная пера фантастов.

Светка Федорова по телефону уверяет мужа, что ночевала у подруги, хотя всему отделу известно о ее интрижке с завотделом Михальским, деловитым кандидатом наук в роскошных очках и при нажитой умственным трудом лысине. Сам Михальский в очередной раз создает концерн «Три бабочки», клятвенно обещая обогатить всякого, кто вложит в бизнес хотя бы рубль. Остальные делают вид, что усердно трудятся, хотя все с нетерпением ждут вечера, чтобы распить уже запасенную водку, даже не подозревая, что вместо водки в бутылки залит суррогат. Сорванец и гроза первого «А» класса Вовик Булкин стирает в дневнике двойку, поставленную за полное незнание предмета. И даже бездомный пес Шарик делает вид, что спит, хотя на деле внимательно наблюдает за перемещениями по двору хозяйского кота Васьки. Надоело.

Хочется праздника для души.

Праздник бывает чаще всего случайным — едешь по степи на велосипеде, вдруг пригорок, поворот и — что это? — перед тобою поле тюльпанов. Желтые и красные тюльпаны делают серую степь фантастически красивой. Казаки называли тюльпаны лазоревыми цветами. А еще влюбленный казак обращался к любимой: «Светик мой лазоревый». Тем самым красота девушки и цветка уравнивались — и цветок и девушка освещали степь своей красотой.

Ходят кони над рекою…

Примерно после четвертого класса мы всей семьей поехали

на Хопер. Там близ станицы Зотовской на хуторе Покручинский до войны жила семья Сенякиных. Она была многочисленной, но я не помню, сколько детей было в семье. Сам я знаю двоих — деда Василия и деда Илью. Странное пошло время — никто и ничего не помнит о своих предках. Забывчивое время — помнят обычно только то, что застали в жизни. Вообще вся жизнь разделилась на жизнь до семнадцатого года и после него. Революция прошлась шашкой по памяти, кровавя, она вырубила из нее поколения прадедов.

Увидев Хопер, я сразу вспомнил, что рожден казаком. Это кто-то ведет свой род по матери, у нас род всегда просчитывался через мужиков. Мать была с далекой Вологды, но отец был казачьих кровей, поэтому я мог смело считать себя принадлежащим к загадочному казачеству, которое вырубалось революцией, двумя войнами, но было неистребимо и колюче, как степной осот.

Хопер был не очень широк. Вода в нем была чистой, прозрачной, ее можно было пить из пригоршни. Она была сладкой. Берег был **в** корявых плачущих ветлах, росших из мелкого речного песка. На отмелях били малька щуки и окунь. У противоположного слегка обрывистого берега отрывисто брал язь, красивая сильная рыба, которая, к моему огорчению, рвала тонкую леску.

Именно на Хопре отец научил меня плавать.

Учил он меня просто — отплывал на лодке от берега и бросал меня в воду. Я начинал барахтаться и тонуть, чувствуя под собой засасывающую, словно пасть сома, глубину. После нескольких неудачных попыток, нахлебавшись речной воды, я незаметно для себя поплыл.

Так и плыву до сих пор потихоньку. Барахтаюсь, сопротивляясь течению. С тех самых пор понял для себя главное — не плыви по течению, всегда выгребай против него. Не будешь выгребать против течения, река жизни тебя унесет.

Несет меня река.

Когда-то все кончится. Каждая речка впадает в свое море. Куда-то впадет после смерти моя душа?

В этот год в клубе показывали кинофильм «Человек-амфибия». Прекрасные съемки под водой, до боли всем знакомый сюжет, только немножечко осовремененный. И Михаил Козаков в роли Педро Зуриты хорош, об Анастасии Вертинской и говорить не приходится. Сразу заговорили фразами из кинофильма. Помнится, фразу Бальтазара «Что вы, дон Педро, это Я вам должен кучу денег!» использовали и в дело, и не в дело. Сразу же

зажила своей жизнью, обретая приблатненные акценты, песенка про «морского дьявола». И пусть кораллы в кинофильме были пластмассовыми, пусть подводная лодка казалась почти фанерной, кинофильм мы приняли. И печальный Коренев в роли Ихтиандра, и все остальное…

А вокруг Панфилова не было ни рек, ни озер. Только пруды с желтоватой от глины водой. Хотелось на море. Но оно было недоступным, как «Артек». Это считалось, что «Артек» здравница детворы всего мира. Легче горбатому было выправить свой горб, чем ученикам из панфиловской средней школы попасть в Артек. Для нас существовали пионерские лагеря на Дону. Правила в них были строгими, распорядок дня соблюдался строго, и больше всего в пионерлагере боялись, чтобы мы не утонули при купании. Поэтому купаться нас водили в специальный «малечник» — большую деревянную коробку с высокими бортами. После купания нас пересчитывали поштучно.

Мать в Панфилове работала буфетчицей в чайной. В чайной продавали водку на розлив и еще там продавали пиво. Поэтому там всегда было полно мужиков. В чайной стояли круглые столики на шатких ножках. На столах бесплатно подавался хлеб, соль, перец и горчица. Иногда мы набирали хлеба и горчицы и отправлялись компанией воровать селедку из коптильного цеха. Это было еще одно чудо природы — до ближайшего моря были тысячи километров, но в Панфилове существовал коптильный цех, в котором коптили исключительно сельдь и скумбрию. И то и другое отличалось высокими вкусовыми качествами и пользовалось спросом у населения. Половина населения скумбрию и селедку покупала в магазинах, вторая половина предпочитала есть эти морские продукты на халяву. Недостачи, впрочем, никогда не было, поэтому состояние равновесия поддерживалось всегда.

А с ржаным хлебом и горчицей скумбрия и селедка очень вкусны. Или мы в то время вели здоровый образ жизни и не страдали отсутствием аппетита.

Иногда мы ходили на панфиловскую хлебопекарню. Боже, какой вкусный хлеб там пекли! Нам давали еще горячие сайки, и мы ели еще дымящийся хлеб, похрустывая великолепной поджаристой корочкой. Вкуснее всего есть этот хлеб с холодным молоком, поднятым из погреба. Я так и ел его.

Хлеб моего детства.

Библиотек в Панфилове было три. Конечно, это была взрослая библиотека, потом еще была детская библиотека, ну и

конечно же, школьная библиотека.

Я был записан во все три. И во всех трех я зарекомендовал себя самым ревностным читателем. Обычно на руки давали по две художественных книги. Я был исключением из общего правила, получая по карточкам сразу по стопке книг в каждой библиотеке. Книги я читал запоем. Сначала библиотекарши не верили, что книги можно так быстро читать, они устраивали мне экзамены, расспрашивая о содержании книг. Потом они перестали это делать, более того, я перешагнул возрастной ценз и начал брать для чтения Ремарка и Золя, Бальзака и Мопассана, Гюго и Жюля Верна, чьи многотомные собрания сочинений пылились на полках. В чтении я был неразборчив. Я читал Апулея и Петрония, тут же открывал дидактичного и нравоучительного Немцова, чтобы через несколько дней увлечься научно-популярной литературой. Интересен был Игорь Акимушкин, но не менее интересны Обручев и Ферсман, чьи научные труды зачем-то попали в сельскую библиотеку. Была такая «Библиотечка пионера», которая учила детишек различным самоделкам. Эти книги тоже интересовали меня, как интересовали детективы Овалова, Шейнина и Адамова. Но больше всего меня интересовала фантастика. Она сразу увлекла меня своей необычностью. Дома у меня к тому времени стояли сборники «Золотой лотос» и «Альфа Эридана», еще был Ефремов, что-то из Беляева, роман Сибирцева «Сокровища кряжа Подлунный».

В библиотеках я нашел для себя многое. Во-первых, это были альманахи «Мир приключений». С первого по восьмой они были широки и высоки, совсем не похожи на кирпичики более поздних изданий. В альманахе печатались Стругацкие и Полещук, Казанцев, Бердники Гансовский, Ляшенко и Мартынов. Потом появились Днепров, Мирер, Громова, всех трудно перечислить. Нет, ребята, это были звездные времена!

В детской библиотеке я нашел «Страну багровых туч» и «Возвращение» братьев Стругацких, потом в ленинградском сборнике «В мире фантастики и приключений» обнаружил «Путь на Амальтею», а в «Фантастике» за 1962 год удивительную повесть «Попытка к. бегству», которая абсолютно не походила ни на что из прочитанного мной к тому времени.

Ах, какие были времена! В Доме пионеров были годовые подписки журналов «Смена», «Знание — сила» и «Техника — молодежи». И еще там были подшивки журнала «Волга», в котором ругали Владимира Высоцкого и Булата Окуджаву за отсутствие голосовых связок, будто это для песен самое главное. Как беспощадны и непримиримы были критики! Я читал и плевался. «Комиссары в пыльных шлемах» мне жутко нравились,

как и «надежды маленький оркестрик под управлением любви», а Высоцкий уже спел «На братских могилах» и «Штрафные батальоны». Впрочем, бог с ними, с критиками, которых уже никто не помнит, в то время как имена моих любимцев продолжают сверкать. И еще там были статьи о полузапрещенных «битлах». Нужна ли нам такая музыка? — вопрошали критики. Сомневался тот, кто слушал их песни тайком, а потому «бит-лам» завидовал. У меня же сомнений не было — «битлы» мне нравились, и их музыка мне была нужна. Но не это главное. Главное в другом. Сколько приятных минут я провел над подшивками журналов «Знание — сила» и «Техника — молодежи», которые давались мне на дом. В Доме пионеров я также обнаружил совершенно неизвестный мне журнал «Уральский следопыт». Спустя некоторое время он стал моей любовью на долгие годы.

Еще я брал книги у друзей. Про Халупняка я уже говорил, любителем фантастики был мой постоянный соперник Толька Никон. В те дни, когда вражда не разделяла нас, мы менялись и открывали друг другу книги. Никон дал мне прочитать роман Сафоновых «Внуки наших внуков», который выпустила «Молодая гвардия». У него же я брал роман Братина «В стране дремучих трав».

На улице Рабочей был крохотный книжный магазин. Порывшись на его развалах, можно было обнаружить библиографические редкости. Запах книг притягивал меня сюда не меньше, чем в библиотеки. К тому же здесь можно было купить книгу, и она оставалась с тобой навсегда, библиотечную книгу рано или поздно надо было возвращать обратно.

В шестьдесят четвертом, поддавшись моему нытью, отец купил в этом магазине роман Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». Книга имела подзаголовок — роман приключений. Я и читал ее с этой точки зрения, только значительно позже я понял, что Ефремов имел в виду приключения духа, а не тела.

Тогда еще я не читал Ефремова, но после «Лезвия бритвы» я прочитал его повесть «Звездные корабли». Была она скучноватой. А потом мне открылся мир его «Туманности Андромеды». Роман показался холодным и стерильным, излишне торжественным. В таком мире жить не хотелось. Он был строг и отстранен, как икона в церкви. Наверное, идеологи партии так решили: коммунизм — это наша святыня, и нельзя позволить, чтобы ее лапали грязными руками. Стерильный холодный мир «Туманности Андромеды» подходил им как нельзя лучше. Из книги сделали икону. А ведь у Ефремова были великолепные романы «Великая дуга» и «Путешествие Баурджеда», у него была

книга, похожая на гемму, — «На краю Ойкумены». Они были наполнены жизнью как она есть, и я восторженно проглотил эти книги, желая продолжения.

Что касается светлого будущего, то в повести Стругацких «Возвращение» оно выглядело привлекательнее. В таком мире хотелось жить, еще больше хотелось познакомиться и подружиться с живущими в этом мире людьми.

Книги формировали мое отношение к миру.

В тумбочке у отца хранилась потертая синяя книга, которая называлась «Декамерон». Это была запрещенная книга, мне ее не полагалось даже видеть, но что может быть любопытней мальчишки и могут ли от него быть тайны? Разумеется, что я нашел это бессмертное творение итальянца Боккаччо и начал его читать. Это был мир эротики и анекдота, и то и другое меня уже весьма привлекало. Мы уже прошли через нескромные рассказы, подглядывания в деревянном туалете и в бане за женщинами, робкое лапанье девчонок в воде, а пробудившиеся эротические мечтания привели в конце концов к тому, что мы на спор принялись измерять свои крошечные члены деревянной линейкой, за которой Васька Дедовский специально сбегал домой. Знал, негодяй, что станет победителем!

Так вот, я сидел и читал в «Декамероне» новеллу о монахе Рустико, который учил некую Алибек загонять дьявола в ад. В это время пришел отец и, раздеваясь, спросил: «Чего читаешь?» Вместо ответа я показал ему обложку «Декамерона». «Хорошая книга», — рассеянно сказал отец и прошел в другую комнату, но тут же вернулся обратно. Вид у него был одновременно смущенный, встревоженный, возмущенный и озадаченный. Это я теперь понимаю, что смутился он из-за того, что стеснялся хранения неприличной книги в своей тумбочке. Встревожился прежде всего из-за того, что сомневался в моей способности адекватно оценить этот вид литературы, возмущенный — ну, это понятно! — а озадачился он тем, что не знал, как ему правильно отреагировать на случившееся — то ли попытаться сделать вид, что ничего особенного не случилось, то ли немедленно подвергнуть меня порке, несмотря на мою больную ногу, и тем самым воспитать юного нахала в полном повиновении в соответствии с патриархальным строем нашей семьи.

Что ему рассказывать, он бы не понял. Мы диалектику учили не по Гегелю. Основы эротической жизни мы изучали не по «Декамерону». Книга только способствовала пониманию сути вещей. К тому времени я уже начал понимать, какое значение в жизни человека имеет секс. Но все равно очень хотелось верить в любовь.

Отец работал преподавателем автодела в местном СПТУ. Странно, но учащихся этого профессионального училища отчего-то в Панфилове называли чигулями. Часть из них жила в общежитии, другая часть проживала на квартирах. Местные чигулей не очень любили. Иногда случались стычки, но до масштабных драк дело не доходило.

Чигули играли с нами в футбол. Мы были младше, но усерднее. Обычно мы у них выигрывали. После футбольного матча мы — грязные, усталые и счастливые — садились на велосипеды и отправлялись на пруд. Самые продвинутые, у кого родители получали побольше, ездили на велосипедах с моторчиками. Очень было удобно — немного разгоняешься, нажимаешь на педали в обратном направлении, и велосипед едет сам, задорно тарахтя моторчиком и оставляя за собой дымный след.

Меня на велосипеде научил ездить Саня Галкин. Он приезжал с хутора Макаровский, что располагался в четырех километрах от Панфилова. Велосипед у него был «дамский», то есть без рамы впереди. Он посадил меня на велосипед и сказал, чтобы я крутил педали. После чего сильно толкнул машину вперед. Я, разумеется, сверзился в пыль. Он еще раз посадил меня на велосипед и снова сказал: «Крути педали!» После этого снова толкнул меня вперед.

И я поехал, постепенно усваивая нехитрую истину, что самое главное в жизни — это постоянно крутить педали, не давая себе свалиться в пыль на обочине дороги. Это главное — крутить педали. В тот год мне исполнилось двенадцать лет, все мои сверстники давно «летали» на велосипедах, только я не умел ездить, отчего сам себе казался неполноценным. Саня Галкин восполнил этот пробел в моем воспитании и избавил меня от уже усугубляющегося комплекса неполноценности.

Это был мой последний год в Панфилове. Сестра окончила школу и поступила в педагогический институт. Родители решили переехать в город, чтобы сестра была у них на глазах. Разумеется, меня они взяли с собой.

В городе езда на велосипеде стала неактуальной. Там имелось в достатке других видов транспорта. Но каждый год, приезжая к бабке с дедом, я садился на велосипед.

В Панфилове мне всегда находилось, куда на нем ехать.

В шестьдесят шестом я стоял в тамбуре и смотрел, как удаляются от меня знакомые переулки. Мелькнул стадион, на мгновение остро запахло копченой скумбрией, потом протарахтел велосипед с моторчиком. Прошуршал слева ветвями

селекционный сад, где так сладки были ворованные яблоки сорта «золотой налив». Я отправлялся в будущее, но еще ничего не знал об этом своем путешествии.

Мне еще предстояло не раз возвращаться сюда. Каждое, лето до самого окончания школы я приезжал к деду с бабкой, и все это было путешествиями в прошлое. Поезд был машиной времени, город был моим будущим, село — моим прошлым. Знать бы, какую бабочку однажды я раздавил и по пути куда?

В сумке у меня были две книги — роман Г. Мартынова «Гианея» и изданный издательством «Мысль» роман Ф. Карсака «Робинзоны Космоса». Свое «Возвращение» мне еще только предстояло украсть. Мир был огромен, пространство впереди беспредельно, звезды были, как никогда, близки — в космос уже полетела первая женщина, которую звали Валентина Терешкова. Я не сомневался, что одним из космонавтов однажды стану и я.

Ради этого стоило жить. Других целей мы перед собой тогда просто не ставили.

Жизнью правила романтика; хотелось жить на разрыв души, поэтому никто не мечтал стать банкиром, а тем более бандитом. Мы мечтали о большем. Банкирами и бандитами нас постепенно делала сама жизнь. Как и ментами.

Наивные и восторженные, мы вбегали в мир, совсем не замечая черных туч там, где вставало солнце.

Часть вторая ГОРОД ДЕТСТВА НА ПРАВОМ БЕРЕГУ

Город стоял на берегу реки.

Провинциальный и тихий, нам после еще более глухой и тихой деревни он казался столицей. Мамаев курган был покрыт лесопосадками, на его вершине высилось какое-то сооружение, затянутое в леса, — тогда я еще не знал, что вскоре там появится разгневанная женщина с мечом, которая этим мечом почему-то грозит тем, кто живет за Волгой, хотя на деле немцы наступали с юга и с севера, с запада — откуда угодно, только не с востока.

Отец с матерью сняли квартиру. Это были три небольшие комнаты в полуподвальном помещении частного дома по улице Колодезной. Улица эта располагалась в поселке Второй километр, который всегда славился своей шпаной и хулиганами. Дом располагался у подножия Мамаева кургана, от кургана его отделял лишь глубокий овраг. Вот на Втором километре я и продолжил свое обучение. Восьмидесятая школа, в которую Меня определили, была одной из последних городских восьмилеток; она располагалась в старом двухэтажном здании на краю оврага, но этот глубокий овраг отделял поселок уже от района Газаппарата и Красных казарм. Здесь, на дне оврага., располагался богатый Шишкинский сад, который так назывался по имени своего создателя. Кем он был, как жил и как закончил свою жизнь, я так и не узнал, но в сад он вложил свою душу. К сожалению, несколько позже овраг начали замывать песком из Волги, и постепенно деревья скрылись под его многометровым слоем, а от озера, на берегу которого располагался сад, осталось лишь маленькое голубое блюдце, в котором мы купались в жаркие месяцы лета.

В школу я пришел уже после начала учебного года, где-то в октябре. Я пришел в свой класс на уроке химии. Войдя в учебный кабинет, я ощутил на себе десятки любопытных глаз, но это меня не особенно смутило. Оглядевшись, я заметил свободное место около симпатичной девочки. Подошел и сел за стол. Девочку звали Лена Данильченко, она была симпатичной, но обещала располнеть в самом недалеком будущем. Особого значения своему поступку не придал, и зря — уже на перемене ко мне подошел угрюмый парнишка и сказал, чтобы я отсел от Ленки, а не то… Остальное было понятно без слов, но во мне заговорило упрямство. Все кончилось легкой потасовкой с поклонником девочки, которого звали Володя Краюшкин. Ловкость и занятия

боксом со Шкуриным помогли мне одержать верх, но тогда меня вызвал на беседу еще один, он оказался школьным шишкарем, как тогда называли лидеров. Шишкаря звали Боней. Вызов был обставлен просто — мне на голову надели грязный мешок, который служил половой тряпкой. Я снял мешок. Скрутил его в жгут и огляделся. Определить, кто меня ударил, оказалось не слишком сложно — он откровенно ухмылялся. Драка была короткой. Во время нее ко мне подскочил маленький парнишка, который зашипел мне в спину: «С кем ты связался? Это же Боня!» Я огрызнулся: «Откуда я знал, что это Боня!» Тем не менее держался я достойно. Тем самым я отстоял право сидеть, где мне вздумается, и вошел в число учащихся школы. А маленький парнишка, оказавшийся моим одноклассником, стал и моим другом. Это был Петя Жуков — влюбленный в историю и географию человек, который любил фантастику и вообще обожал читать книги, к тому же Жуков отличался недюжинной фантазией. Постепенно я обзаводился друзьями. В доме под радиоглушилкой, которая не давала свободы слова радиостанциям «Немецкая волна» и «Свобода», жили Саня Башкин и Вася Попков, рядом с Жуковым, который с родителями проживал в доме барачного типа, в таком же доме жил Витька Калинин по кличке Калин, по пути из школы ко мне домой жили Саня Ерохин и Саня Горюнов, которого звали Джимом. С Джимом мы считались приятелями, а с Ерохой сошлись значительно ближе.

В сарае у Петьки Жукова у нас была штаб-квартира. Именно там мы собирались и при свете свечи рассказывали разные жуткие истории. Здесь рождались первые фантастические рассказы и пересказывались сюжеты несуществующих книг, якобы прочитанных нами.

Во дворе дома, где жили Башкин и Попков, мы играли в «дыр-дыр» — подобие футбола с маленькими воротами и без вратарей, Это был не тот футбол, к которому я привык в Панфилове. Но все равно было интересно. Мы играли с азартом — падая и роняя, ругаясь и мирясь, забивая голы и безбожно промахиваясь по воротам.

С неудачливым воздыхателем Ленки Данильченко, которого на Втором километре все звали Краем или Краюшкой, мы подружились и ходили на Мамаев курган крыть сетками реплов и щеглов, а также раскапывать блиндажи, которых там еще оставалось более чем достаточно. Крыть сетками птичек очень увлекательно. Не менее увлекательно раскапывать блиндажи, в которых можно было найти много интересного и даже полезного. Кроме костей, мы находили наши и немецкие награды, ржавое

оружие, которое при определенной сноровке оказалось легко привести в рабочий и даже товарный вид. Однажды мы нашли немецкий хлеб в полиэтилене. Его следовало опустить в воду, и тогда маленький прессованный брикет раздувался до обычной сайки. Хлеб чуточку горчил, возможно, из-за добавленных в него отрубей, но есть его было можно.

Именно тогда определялось будущее нас всех. С нами в классе учились разбитные хлопцы — Саня Чувакин, Витька Фокин, Серега Шевченко. Всем им, как и Краюшкину с Калиным, предстояло в недалеком будущем пополнить преступный мир. Если Чувакин, Фокин и Шевченко просто добросовестно отсидели за совершенные ими кражи из автомашин, то Краю и Калину пришлось пройти по долгим ступеням преступной иерархии и получить почетные ныне звания особо опасных рецидивистов. Впрочем, счастья это им не добавило. Края в пьяной драке убили родственники, Калинин Витька отсидел пять или шесть раз и, как я слышал, отправился сидеть за новое преступление.

Первые звоночки прозвучали уже в седьмом классе. С нами учился некто Нелюбин — прыщавый второгодник с блатными замашками, отсидевший в двух классах по два срока. Его компания поймала на Мамаевом кургане пионерку, которая вела телевизионную передачу «Пионерская зорька». В прыщавых телах взыграли прыщавые гормоны, и они попытались девочку изнасиловать. По возрастным причинам, из-за неопытности и торопливости это им естественным путем не удалось, и тогда они сделали это грязными немытыми пальцами. Всех их посадили, и от этого в школе стало лишь легче дышать. О них никто не жалел. Это была грязная накипь на кастрюле, в которой варили мужчин.

Мы были далеки от этого. Собираясь вечерами, мы рассказывали истории о бриге живых мертвецов, истории о черной руке и блуждающих кровавых пятнах, постепенно добираясь до таких высот, что, выходя из сарая, сами боялись идти домой. Еще были фантазии на сексуальные темы, причем каждый врал, что это с ним происходило на самом деле. Гормоны играли. Впрочем, это не мешало нам оставаться детьми. Хотя рассказы были ого-го какими!

Кстати о гормонах.

Иногда в летние выходные мы всей семьей выезжали на пляж.

Еще выезжала тетка со своим вторым мужем и ее друзья и подруги. Среди них выделялась томная плавная тетка Зоя, у которой из синего бюстгальтера выглядывали белые полушария грудей. Это было именно то, что мы в своем подростковом кругу

всегда называли сиськами, стеснительно при этом хихикая.

Однажды суховатая и со злым лицом тетка Дина перехватила мой взгляд.

— Гляди, смотрит! — искренне удивилась она.

— Все они сейчас ранние, — лениво сказала тетка Зоя и щедрой рукой сдвинула ткань бюстгальтера в сторону, чтобы круглые запретные плоды были мне виднее. Стыда я не испытал, только жгучее любопытство и что-то похожее на желание вдруг зашевелились в глубине души. И я торопливо побежал купаться.

Вода в Волге всегда была прохладной. Она и позже успокаивала.

В глубине темной воды порой угадывались огромные серебристые рыбины. Глядя из-под воды, они видели тени, что бродили по песчаному берегу. Для рыбин мы казались ботами, неторопливо бредущими по суше — этой разделительной черте, отделяющей небо от воды.

В тихом зеркале природы…

Если пройти по берегу, пересечь волейбольную площадку пляжа, обогнуть деревянный ресторан «Волга» и миновать сухой потрескивающий ветвями сосняк, можно было выйти к небольшому озеру. Озеро поросло камышом, на спокойной черной поверхности его глянцево зеленели круглые листья, среди которых белыми кудрявыми кулачками светились лилии. Если встать на берегу, в глубине озера можно было заметить ленивый медный блеск. Малька здесь плескалось столько, что озеро напоминало инкубатор. Иногда на озере встречалась ленивая цапля, которая расхаживала по мелководью, разгребая клювом тину и ловко выхватывая оттуда мелких рыбешек и зазевавшихся лягушек.

Главным было — не испугать комаров. Одно неосторожное движение — и ты оказывался в дымном облаке, способном выпить из тебя всю кровь.

* * *

Все портила только конная милиция, которая вставала у дебаркадера, к которому причаливали катера. Милиция бдила за порядком, лошади лениво пили волжскую воду. Иногда на дебаркадере случались стычки, которые в зародыше гасили конные милиционеры. При этом самую активную роль играли лошади, теперь уже всадники лениво наблюдали с высоты лошадей за реакцией толпы.

Толпа реагировала правильно.

Вспоминая о том времени, я всегда думаю о тех развилочках судьбы, благодаря которым наша жизнь складывалась определенным образом. А ведь жизнь могла сложиться и совсем иначе. Тогда у нас не было иммунитета против зла, а компании всегда придерживались в своем поведении стайного и не всегда порядочного принципа. Я вполне мог оказаться однажды на скамье подсудимых, приняв участие в краже или будучи пойманным за хранение огнестрельного оружия. Долгое время я владел офицерским «вальтером», найденным в одном из блиндажей. Хорошая оказалась игрушка! А патронов к ней было немерено. Иногда мы с Краюхой забирались в овраг, выставляли у глиняного откоса пустые бутылки и банки и упражнялись в стрельбе, чувствуя свою взрослость и крутость.

Уже в восьмом классе я с другом гулял по набережной, где нас пытались ограбить. Несколько подростков с ножами в руках хотели освободить нас от лишних денег. Но лишних денег в пятнадцатилетнем возрасте просто не бывает. А вот «вальтер» у меня был под рубахой. Выстрел из него привел грабителей в состояние тупой покорности. Мы отобрали у них ножи, а потом в порядке компенсации очистили их карманы. У них оказалось семнадцать с половиной рублей, которые мы тут же потратили в кафе «Керамика» на вино «Фетяска» и мороженое. Уже позже я понял отчетливо, что в тот день моя судьба могла круто перемениться, ведь то, что мы сделали с дружком, называлось на языке уголовного кодекса просто и обыденно — разбой.

Вот интересно, кем бы я стал? Возможно, я стал бы не подполковником милиции, а крутым паханом или, как их теперь называют, «авторитетом». Родственники меня, конечно же, стыдились бы, а нынешнее поколение смотрело бы на меня с уважением, как раньше мы смотрели на летчиков, космонавтов и ученых. Во всем есть какая-то предопределенность. Эта предопределенность и повела меня по совершенно иному пути, о чем я нисколечко не грущу, наоборот — радуюсь, что судьба оберегла меня от опасных поворотов.

Я рад, что остался человеком.

Сломанные зоной люди, определившие свой воровской путь, лишь внешне напоминают людей. В душе у них пустота, а в глазах их никогда не бывает радуги. Откуда взяться радуге, если ты все видишь в черно-белом цвете? Я жалею этих людей. Я их очень жалею. Такие люди подобны чертополоху, расцветшему внезапно на заливном лугу, он может оказаться и красивым, но все-таки будет чужим пахучему разнотравью, его иголки не

позволяют любить чертополох, как любят чабрец и донник, как любят горьковатую степную полынь, как обожествляют лазоревые цветы степи — неяркие и все-таки сумасшедшие тюльпаны.

Ладно. У каждого своя судьба. И все-таки я с тоской вспоминаю руки приятеля моего детства Володьки Краюшкина. Эти руки, уже принадлежащие коренастому и хмурому мужику, светились белыми шрамами, пересекавшими вены.

Они говорили за жизнь Вовки Края, куда больше, чем его немногословные рассказы, в которых привычные нам с детства слова были щедро посолены российским матом и поперчены блатными выражениями, известными нам двоим.

Знаете что? Вор и сыщик — это два берега одного жизненного потока. Они неотделимы друг от друга. Вор нуждается в сыщике, этого требует общество. Но и сыщик нуждается в воре, без этого стала бы невозможной его профессия. И эта тайная связь проходит между ними всю жизнь. Быть может, именно поэтому воры хотят, чтобы их похоронили на аллее, где чаще всего хоронят ментов. Сопричастность продолжается и после смерти. Только признаваться в этом воры не хотят. Как и сыщики.

Разумеется, что в школе, куда я пошел учиться дальше, была библиотека. Заведовала ею Вероника Федоровна Круг-лова, которая одновременно являлась нашим классным руководителем. Что и говорить, с Петькой Жуковым мы излазили библиотеку от нижних полок до верхних. Там имелось старое виньеточное издание «Тайны двух океанов» Адамова, еще там нашлись романы и сборники рассказов ныне забытого Вадима Охотникова, который целился только в ближайшее будущее. Впрочем, какого черта?! Говорят, он был милейшим человеком, активным изобретателем. А литература для него была отдушиной. Не надо из человека делать монстра. Читали его с интересом. Я читал, свидетельствую о том. Ну не Толстой (на выбор), ну не Достоевский. Но, в конце концов, и не сотни других, уже давно и напрочь благополучно забытых. И в школьной библиотеке преступно бесхозно лежало первое издание романа моих любимых Стругацких. Конечно же, это было «Возвращение». В библиотеку книга уже никогда больше не вернулась. Она сопровождала меня всю дальнейшую жизнь. Странствия, которые выпали на ее долю, казались бесконечными. Теперь они завершаются. На книге появился автограф Бориса Натановича. К сожалению, Аркадий Натанович уже ничего не напишет. Я опоздал. Ах какое было «Возвращение»!

Первое издание мне нравилось больше. Хотя бы тем, что в

первом издании была робко намеченная линия любви девушки Ирины к космолетчику из прошлого Кондратьеву. Потом в других изданиях авторы эту линию сократили. Но разве бывает будущее без любви? Тогда этот вопрос передо мной просто не стоял. Я твердо знал, что без любви не бывает и настоящего.

Потому что в класс пришла Галка Малыгина.

В нее я влюбился сразу и бесповоротно, при этом так, что это стало видно всем.

Я смотрел на нее так, как смотрят верующие на иконы. Она являлась для меня иконой божества, в которое хотелось истово верить. Она была прекрасна. И при этом она почти не замечала меня. Что можно сделать, чтобы божество обратило на тебя внимание? Трезвомыслящий прагматик нашел бы варианты, но истово верующий на это не способен. Быть может, я оказался слишком молод для такого чувства, скорее всего это именно так.

Я писал плохие стихи и читал их своим друзьям. Друзьям эти стихи казались хорошими. А как же иначе? Стихи-то были про любовь, а любовь при этом оказалась не такой уж и отдаленной, она была видна всем, кто учился тогда рядом со мной.

Постаревший Петька Жуков и сейчас вспоминает происходившее тогда с умилением. Я сам уже мало чего помню. Помню только беззвучно орущее ощущение счастья, когда я шел рядом с Галкой и нес ее портфель.

Было хорошо оттого, что она есть. Достаточно оглянуться, увидеть ее серые глаза и смущенную улыбку.

Память, память, что ты делаешь с людьми!

Рядом с поселком высился Мамаев курган.

Вершина его была в лесах. Там скульптор Вучетич ваял что-то монументальное, что должно было в день открытия раз и навсегда поразить все прогрессивное человечество. Мы были трудолюбивыми муравьями, роющимися у подножия будущих монументов. Мамаев курган, был terra incognita нашего времени. В лесополосах, окружающих курган, можно было наткнуться еще на скелет в остатках мундира, раскопать блиндаж, посидеть в холодном и мрачном дзоте, а то и найти невзорвавшуюся авиабомбу. Ее можно было взорвать. Для этого ее надо было добросовестно обложить сухими ветками, поплескать бензином, провести дорожку к окопчику у обрыва и зажечь спичку.

— Не взорвется! — убежденно сказал Край.

— Должна, — неуверенно сказал я, изучивший устройство зарядов по книге «Артиллерия», изданной в пятидесятые годы. Между прочим, в этой книге были приведены сталинские слова,

что артиллерия — бог войны, и в это нельзя было не поверить. Осколков на Мамаевом кургане было столько, что сразу всем становилось ясно — так гадить могут только боги.

— Фигня все это, — авторитетно сказал Витька Калин. — Полезу посмотрю. Может, костер погас.

Но костер не погас. Было самое время, когда Калин высунулся из окопчика. Ахнуло так, что раскаты еще несколько минут гуляли над курганом. Окопчик, в котором мы сидели, обвалился, и мы повисли на пятнадцатиметровой высоте.

— Вот мы дураки, — задумчиво сказал Калин. — Запросто накрыть могло.

Мы его слышали плохо. В ушах еще звенело. В воздухе пахло паленой пластмассой.

> Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
> Последний штык заводы гранят.
> Мы всех заставим рассыпать порох.
> Мы детям раздарим мячи гранат.[3]

Ну, что сказать? Раздарено было немало!

Ах развилки судьбы! Ведь еще тогда все могло кончиться. Но кто-то наверху рассудил, что мы должны пожить побольше, чтобы было время сыграть в казаки-разбойники не понарошку, а на самом деле. Калин и Край стали разбойниками, я же остался казаком. Игра наша затянулась до самой смерти. Большую часть жизни мы находились по разные стороны колючей проволоки. У каждого из нас была своя свобода. Уже много позже мой друг детства Володя Краюшкин, ставший особо опасным рецидивистом, пришел ко мне в кабинет, положил на стол руки в белых полосах шрамов на не единожды резанных венах и глухо сказал: «Устал!»

Время нас отбирало. Кому-то оно давало второй шанс, кого-то сразу отправляло на небеса. Кого-то оно делало разбойником, кого-то — казаком. Будущая смерть уравняет всех. Для нее все различия несущественны. Если вы мне не верите, посидите ночью на кладбище.

Восьмидесятая школа, в которой я учился, была двухэтажной, с каким-то легкомысленным флигельком на крыше. Класс наш оказался довольно шпанистым, нравы и отношение к учебе — легкомысленными, поэтому многие учителя на время урока запирали класс на ключ. Высшим шиком было во время урока выпрыгнуть со второго этажа в окно на кучу шлака. В отличники мы не годились.

Тем не менее учился я не так уж и плохо. По крайней мере аттестат у меня был не хуже, чем у премьер-министра России конца девяностых годов Виктора Черномырдина, удивлявшего страну своими филологическими изысками. Помнится, он хорошо сказал, в духе нашего Второго километра: «Если у кого-то чешется, чешите в другом месте». И еще он выдал афоризм, точно определивший душу России: «Хотели как лучше, а получилось как всегда!» Умри, Денис, а лучше не скажешь! Но, как мне помнится, всех затмил белорусский батька Лукашенко, когда ему вручали орден в православном храме на израильской земле. Он начал свою речь коротко и емко: «Я — православный атеист!»

И тут мы отвлечемся немного.

Нет, братцы мои, смесь политических и религиозных учений чаще всего получается гремучей. Возможно, я не прав. Обычно учение всегда заявляет себя как политическое, обретение им религиозности есть высшая ступенька, превращающая учение из эталона в идеал. Поэтому евангельские заповеди срабатывают, а Моральный Кодекс строителя коммунизма не сработал. Хотя надо сказать, марксизм-ленинизм даже стал одно время религией XX века. Вся беда в том, что у марксизма не было стержня — Учителя, вместо него были педагоги, которых, как ни круги, невозможно приравнять к богам. Попытка обожествления педагога не сработала, обожествить можно только Учителя.

Христиане сделали Богом Учителя.

Христианский Бог — это педагог, который помогает людям подняться из тьмы к сверкающим истинам Абсолюта, при этом он учит, как это можно сделать. Заповеди его были уроками, которые надлежало усвоить.

Время детского сада закончилось.

Нам потребовался наставник. Поэтому веселая греческая религия и уступила место христианской. Поэтому история христианской религии полна фигур проповедников, иначе говоря — Учителей. Каждому хочется добавить свой лучик к сияющей истине.

Создание эталонов жизни и поведения — вот смысл христианской религии. Столетие за столетием нам навязываются стереотипы поведения в обществе, стремление повести людей по однажды намеченному пути развития выдается за любовь и сострадание.

Без образа Учителя христианская религия зачахла бы, но Бог христиан сам был человеком, познавшим муки и страдания, а потому получившим право на нравственные поучения.

Неудивительно, что языческим полнокровным, но сверхъестественным богам оказалось не под силу конкурировать с Богом, который был слеплен из плоти и крови и который пролил эту свою кровь во имя людей.

Примерно то же самое произошло и в мусульманском мире. Привлечение к воспитанию людей образа Учителя сделало Мухаммеда Пророком, сам же Учитель вошел в мусульманский мир, снял обувь и оглядел своих учеников. Мухаммед сделал единственное — его Бог был более строгим, чем Бог христиан.

Но, видимо, это уже азиатский менталитет: там, где европейцу достаточно ивовых прутиков, азиату необходимо браться за бамбуковую палку.

Мы вошли в школьный класс. Я не знаю, сколько продлится наше обучение, но я знаю, что к прежним играм возврата уже нет. Детство подходит к своему концу, и это очень печально.

Христианство и марксизм-ленинизм удивительно похожи.

Христианство отрицает все, что противоречит существованию созданного им Бога. И марксизм-ленинизм выхолащивает весь духовный мир, сводя все к обязательности «неизбежности классовой борьбы, и делает это в светлых целях торжества бесклассового будущего, которое на поверку неожиданно оказывается убожеством, где правит посредственность. Любая вера всегда вырубала самые светлые и сильные ростки человеческого духа. Выступая в интересах своих религий, человек противоречит интересам всех других; верующий выступает противником всех иных вер, и нет ничего опаснее человека, выступающего с позиций догматического поклонения своему Богу.

Марксизм-ленинизм, созданный как философско-политическое учение, овладел умами миллионов и привел к созданию гигантского государства, воплощавшего теорию в практику жизни. Без сомнения, надо назвать марксизм-ленинизм одной из религий XX века, имевшей своих ересиологов и догматиков. Возможно, что истина крылась посередине. Победили же догматики. Мы при жизни, как и христиане, получили Учителя, растолковывающего нам постулаты веры, а дальше произошло неизбежное — поклонение догме стало непреодолимым барьером перед всем новым, что могло бы обогатить Учение, но не вписывалось в установленные им нормативы. Вначале догматики от учения начали утверждать истины, казавшиеся им незыблемыми, затем отрицать все, что противоречило их учению, затем сократили само Учение до прописных истин и, выхолостив из него живое содержание, сделали обучение учению бездарно поверхностным, выпуская

цитатники, содержание которых можно было использовать как кубики — куда цитату ни воткни, она будет правильной, а далее все свелось к маразматическим старым вождям, оторванным от остальных людей и никогда не раскрывавшим ни Маркса, ни Ленина, но с религиозным фанатизмом утверждавшим их единственность и уникальность для всей Вселенной, и не сознающим, что учению, как человеку, нужен глоток свежего воздуха, что мир развивается не догмами, а отклонениями от них, и истина — это тоска по ненайденному, потому что именно в неустанных поисках живет Природа. Вера в вечное развитие — вот Религия, которая достойна человека, достойна хотя бы тем, что в ней отсутствует Бог, и, следовательно, она лишена возможных и неизбежных для остальных Религий запретов.

Но меня унесло.

Помните, как писал Анчаров? Его повествование напоминало гуляку, который никуда не торопится. Идет себе по городу — туда заглянет, сюда забежит, увидит это, увидит то, отвлечется на беседу с прохожим. Видимо, меня подсознательно тянет к такому стилю изложения мыслей. Но там, где у Анчарова получается художественный текст, у меня выходит чистейшей воды графоманство.

Собственно, что такое графоманство? Всего лишь неистребимое желание писать. Но если это так, то я не графоман. Я испытываю отвращение при виде чистого листа. И вместе с тем меня тянет к нему. Я похож на кота, вдохнувшего запах валерианки из лужицы на полу. Запах этот вызывает отвращение и неистребимо притягивает к себе кота.

Хочется объять необъятное.

Я взрослел, а книги оставались необходимым условием моего духовного роста. Я был записан в три библиотеки. Собственная моя библиотека к тому времени составляла около сотни книг. Подавляющим большинством из них была фантастика. Плевать мне было на то, что говорили критики! Мне нравился «Марс пробуждается» Волкова, мне нравилась «Триада» Колпакова, но мне нравился и «Солярис» пана Станислава, и еще мне нравился роман Д. Гранина «Иду на грозу», который был написан на той грани, где фантастика перестает быть собою, а книга становится Высокой Литературой. Я читал и перечитывал «Золотой лотос», «Альфу Эридана», «Дорогу в сто парсеков», «Пылающий остров» Казанцева, «Далекую Радугу» и «Трудно быть богом» братьев Стругацких, в которых я влюбился раз и навсегда.

Шел одна тысяча девятьсот шестьдесят шестой год, а на улице Исторической имелся книжный магазин, где продавались

новинки. И вот в феврале я зашел в этот магазин. Был мороз, а в магазине оказалось тепло. В разделе букинистической литературы лежало около десятка фантастических книг, да еще и на прилавки выставили «Эллинский секрет», очередной «Мир приключений» и «Фантастику, 1966, выпуск первый». Я был школьником, в кармане у меня жалко звенели двадцать пять копеек, и я изнемогал от тоски и обиды на несправедливости мира. Но тут я увидел, что продаются билеты «Книжной лотереи». Разумеется, в дикой и несбыточной надежде я тут же потратил свои двадцать пять копеек на билет. Бог не сволочь, он видит истинных любителей — мне достался максимальный выигрыш в пятьдесят рублей! И я произвел опустошение магазина, забрав все, что мне хотелось забрать. На трамвай и автобус денег у меня не было, я шел пешком, держа увязанные в стопки книги в обеих руках. Дома я разложил книги на полу и долго любовался ими, а потом начал читать. И в мою жизнь вошли зловреды и галакты из романа Сергея Снегова, удивительный Кандид из «Улитки на склоне» совсем необычных Стругацких, я взахлеб читал «Хождение за три мира» Абрамовых, слушал песни слепого Райслинга из рассказа «Зеленые холмы Земли» еще почти незнакомого мне, но такого близкого Хайнлайна. Это было пиршество!

Господи! Как я благодарен книгам, научившим меня думать! Как благодарен их авторам за то, что они сделали меня тем, кем я стал! Прошло около сорока лет, а я по-прежнему чувствую сумасшедшую радость того дня, радость, которой я больше не испытываю, ведь и сам я стал иной и жизнь — чёрт ее побери! — совершенно изменилась.

— Дай почитать! — заныл Петька Жуков, увидев книги.

Все это было похоже на болезнь — самая толстая книга читалась за ночь. До сих пор я думаю, что хорошая жизнь — это «Три мушкетера» на ночь и крупные черные сухарики со стаканом ледяного молока. Было блаженство запивать сухарики молоком и следить за никогда не пьянеющим Атосом, графом де ла Фер, которого я почему-то любил больше д'Артаньяна. Он был личностью, только Дюма об этом не подозревал. Или нет? Может быть, и вся книга написана из-за истории графа де ла Фер и его красавицы жены, которая стала миледи? Подвесь меня за руки на дереве и оставь умирать, я бы вообще стал драконом!

Оторва век!

Заглядывая во вчера, я вижу их нынешних — морщинистого и язвительного Петьку Жукова, толстого и самодовольного Саню Башкина, пьяного и пугливого Ваську Попкова, рассудительного и

расчетливого Саню Ерохина, всех, с кем меня тогда сталкивала судьба, давая прожить детство. Иных уже нет. Время попробовало их на излом. Материал оказался непрочным. Из оставшихся в живых оно выкроило то, что получилось. Мы себе не нравимся. Однако мы производное нашего вчера.

Мы взрослели.

Медленно менялось время.

Романтика уступала место прагматизму. Никто уже не ехал на Север за туманом, туда ехали за длинным рублем. Книга превратилась в предмет роскоши, фантастика стала дефицитом. Ее стали продавать из-под прилавка.

Тогда я еще не понимал, как нагло и бессовестно меня обворовывали всю жизнь. Сколько книг я не прочитал вовремя! Если бы я прочитал их, то был бы совсем иным человеком — лучше, чище, добрей и, быть может, умней. Книжное изобилие свалилось на меня в конце жизни, когда мне уже поздно было меняться. Глупо меняться, да и невозможно — жизнь слепила из меня то, что она слепила. Как в старом бородатом анекдоте: «Моцарт… Бетховен… Что получится, то и получится!»

Вот — получилось. Стакан водки могу без закуски. Запросто. На мертвяков смотрю без какого-либо отвращения. Пишу, что думаю. Это не всегда нравится. Первое не нравится моей жене, второе не по нраву разным снобам, третье не нравится никому. Писать надо, что интересно людям, а не тебе самому. Так меня однажды поучал один любитель фантастики, укоряя, что я совершенно не думаю о читателе. Он как раз прочитал «Владычицу морей». Я был с большого бодуна, и мне не хотелось спорить. Я соглашался. Мне и в самом деле плевать было на читателя, особенно если он зануда, как мой собеседник. Я его только спросил: «Ну, ты книгу дочитал?» — «Да», — сказал он. «Бросал читать?» — «Нет, — сказал он. — Как сел, так за раз и прочитал». — «Так какого же?» — взъярилось во мне похмелье. Но я тут же махнул рукой. Какая разница, а?

Нет, все-таки хорошо, что хоть в конце жизни я поездил на разные конвенции. Узнал много хороших людей, попил с ними водки. Водка не была самоцелью, просто так складывалось, что она была приложением к приятному общению. Очень славные люди — Вячеслав Рыбаков, Андрей Измайлов, Юра Брайдер со своим соавтором Колей Чадовичем, немного меланхоличный Кудрявцев, задумчивый Игорь Федоров, лысобородый Слава Логинов, который Витман, да много кого там было.

Увидел кумира — Бориса Натановича Стругацкого. Питерский интеллигент. Приятно и восторженно было смотреть. Еще приятнее было его слушать. Жаль, что уже никогда не увижу

Аркадия Натановича. Не судьба! Мне показалось, что рыцарская лихость и этакое гусарство в их произведениях исходили именно от Аркадия Натановича, Борис Натанович показался мне более спокойным и рассудительным. Потом это подтвердилось «Поиском предназначения».

Боже мой, сколько хороших писателей старательно лепили меня в детстве, даже не подозревая о моем существовании!

В детстве меня восхищали рассказы Роберта Шекли. Сподобил Господь на старости лет. Я Шекли увидел. В рассказах он был неистощимым оптимистом. Русский писатель для русских читателей! Через сорок лет он удивлялся, что более популярен в России, нежели у себя, где его почти забыли. Милый Роберт, а для кого ты, черт побери, писал? Только не для сытого американца. Он слишком быстро забывает то, что совсем недавно составляло его жизнь.

Шекли имел русские корни, недаром в старости он оказался очень похожим на бича. Кстати, слово «бич» чисто русского происхождения, оно служит для сокращенного обозначения бывшего интеллигентного человека. При встрече, несмотря на то, что его окружали функционеры от фантастики, Шекли мне показался похожим на русского мужика, поднявшегося из теплотрассы, ставшей его домом.

Не зря поднялся — наверху его ждало много дел.

Только вот старость никого не жалела — он стал писать хуже и неинтереснее.

Еще я видел знаменитого Пола Андерсона. Он ходил по гостинице с гордым видом. Был он сухой и прямой, кожа на его лице желто сползала складками к подбородку. Рядом ходила его жена, немного похожая на пухлую наседку, которой уже не нести яйца. Один из моих любимых авторов! Было немного грустно на него смотреть. Черт побери, каждый человек не должен стать старше самого себя. В противном случае станешь похожим на кадавра.

Еще тоскливее было заглядывать в зеркало. Смотреть в зеркало было совсем неинтересно. Я знал, что я там увижу!

И другой пример — на сцене появился Вадим Шефнер, чтобы получить «Палладина фантастики». Было это в две тысячи первом. Тело его было старческим, он с трудом стоял, он покачивался, и его поддерживал актер Жуков, который ежегодно традиционно вел конвенции «Странника». Но какая ясная голова была у Вадима Шефнера, какой голос!

Я понял, что умру раньше. У меня никогда не было жажды жизни, которая просматривалась у Шефнера.

В тот день он был лучшим. Все остальные призеры отставали

от него на шаг. В его возрасте это означало — навсегда. Да и вообще он был хорошим писателем и ехидным поэтом. Жил где-то в глубине его души вечный ребенок. Его существование подтверждалось интонациями «Девушки у обрыва», «Исповедью человека с пятью «Не», «Скромном гении» и в его стихах, которых я помнил великое множество. Говорят, что ему очень досадил великий мэтр Д. Казанцев и в наказание Вадим Шефнер наклеил его фотографию внутрь унитаза. А чтоб не зазнавался и не плевался во все стороны! Говорят, Казанцев *стучал.*

Не хочу разбираться, кто в *те самые времена* на кого стучал. Бог их всех рассудит на небесах. Если только там есть кому и кого судить. Но ведь стучали! Стучали, граждане господа и товарищи. Почему? Почему? Места под солнцем не хватало? Счеты хотелось свести? Доказать таким способом свою правоту? Или это потребность иной творческой души? Помнится, и в более поздние времена иной критический отзыв глядел на автора зрачком ружейного ствола. Однажды Женя и Люба Лукины завладели внутренними рецензиями, которые на их сборник писали Казанцев, а еще чуть раньше Тупицын. Ну, братцы мои! Если это не политический донос, то я зря проработал в милиции долгих двадцать восемь лет. Но ради чего? Искренне верили в свою правоту? Так в этих критических опусах правотой и не пахло. А может, все прозаичнее — берегли свое место под солнцем от разных там Лукиных, Штернов, Рыбаковых, не к ночи они будут помянуты!

Эх, братцы-критики, люблю я вас. И прежде всего за то, что ваши критические отзывы теперь не грозят Магаданом или К˚лымой, что бы там ни написали. Критикуйте, критикуйте, барон! Только, пожалуйста, без политических обвинений — ведь тогда критическую статью так легко спутать с доносом.

Не меня опять занесло. Я же пишу портрет юного человека. Кому какое дело, что он увидит и узнает в старости? Ну, кокетливо сказал внутренний голос, не в старости, скажем мягче — в зрелом возрасте.

* * *

В то время до зрелости мне было далеко.

Тогда я учился в седьмом классе и приезжал на каникулы к бабке с дедом. Наша половина дома была не заселена, в ней был нежилой дух, но в большой комнате стоял старый диван и книжный шкаф, на полках еще оставалось несколько десятков книг, которые не забрали пока в город. Иногда я ложился на

диван и читал эти книги. Было несколько книг из популярной в пятидесятые годы серии «Военные приключения» — «Над Тисой», «Медная пуговица», «Голубая стрела» и еще старый жёлтый томик «Тысячи и одной ночи», которая увлекала восточными оборотами и невероятными приключениями героев.

Именно в этой комнате я в пятом классе листал подшивки «Вокруг света», которые приносил с работы отец. Я тогда не ходил в школу, по личной дурости я пытался выбить гвоздь из доски ногой в резиновом сапоге и, естественно, получил заражение крови. Нога раздулась и пульсировала, словно она была самостоятельным существом, но, перебивая боль, я читал «Вокруг света», открывая для себя Роберта Шекли и нового В. Сапарина, чьи рассказы теперь разительно отличались от всего, что он когда-то написал, как модные австрийские туфли отличаются от резиновых галош. Кстати, до «Суда над Танталусом» он как раз про самонадёвающиеся вечные галоши и писал, считаясь при этом фантастом, заглядывающим в таинственные глубины будущего.

— Смотри, — сказал Саня Галкин, открывая черный томик «В мире фантастики и приключений» за 1963 год. — Классная вещь!

Нет, Станислава Лема мы уже читали — «Магелланово облако» и «Астронавты» не произвели на нас особого впечатления. Но в этот раз мы столкнулись с мыслящим Океаном Соляриса. Трагедия людей на орбитальной станции, которые встретились с инопланетным разумом, взявшимся за моделирование их несчастий. Лем писал о трагедии человека, столкнувшегося с

Неведомым, бессильного этому Неведомому противостоять, ведь спасти себя и человека в себе можно было только бегством — это поражало воображение! Это была Литература! Время жестоких чудес завораживало и заставляло спорить.

Медленно обозначились полюса. Мир не был однообразным — он был похож на тельняшку, состоящую из двух цветов. Мы вступали в жизнь и начинали понимать, что черного в ней ничуть не меньше солнечного. Просто это черное еще не вступало в нашу жизнь. Нас от него берегли родители. Черные тени кружились где-то рядом, выбрасывая в нашу сторону длинные и липкие языки. Все еще было впереди. Все ещё было впереди!

Мы осваивали свою орбитальную станцию. Она называлась Панфилова К ней причаливали континентальные поезда.

Станция Панфилово середины прошлого века.

Она и сейчас такая. Ничего не изменилось. Это столицы меняются каждый год, хорошеют, приукрашиваются. Провинция

меняется лишь в худшую сторону. Ветшают дома, мелеют пруды, зарастают крапивой окраины. Стареют люди.

Такие дела.

Вечерами мы играли в футбол. Днями я работал на элеваторе. Домой я приходил поздно, и на столе во дворе под жестяным эмалированным тазом с отбитыми краями меня ждала краюха домашнего хлеба, несколько огурцов и кружка холодного молока.

Под раскладушкой, на которой я спал, стопками лежали книги. Их я читал ночами. Нет, какое было время, какое время! Я читал Севера Гансовского, Илью Варшавского, «Открытие себя» Владимира Савченко и «Аксиомы волшебной палочки» такого необычного Владимира Григорьева, «Бульвар Целакантус» Львова и выпуски «Фантастики», в которых был напечатан милый моему сердцу Михаил Анчаров, и еще я читал Монтеня и Овидия, бегал в сельскую библиотеку и брал там тома «Библиотеки Всемирной литературы». Я читал бессистемно и жадно, и это была хорошая жизнь!

Стоял август, и с небес катились звезды. Можно было лежать на ступеньках крыльца и загадывать желания — звезд хватало сразу на все.

Вечером я ехал на велосипеде на хутор Михайловский, где жил мой дружок Саня Галкин. Мы спорили о книгах, и еще больше мы с ним спорили о будущем, которое казалось нам таким прекрасным.

Был шестьдесят восьмой год — в Прагу входили танки Варшавского договора. Нас это не интересовало ни капельки, мы спорили о том, каким будет коммунистическое будущее — таким, как у Стругацких, или таким, как у Ефремова. Мир «Возвращения» был человечнее, поэтому нам он нравился больше. Тогда казалось, что в будущем танкам нет места, ну разве что высшей защиты, чтобы преодолевать опасные маршруты на далеких планетах или бороться с последствиями технологических катастроф на Земле.

Если бы мне кто-нибудь сказал, что через три десятка лет мы будем штурмом брать бывший советский город Грозный, что танки на его улицах будут гореть точно свечки, а оборонять от нас город будут боевики, которых возглавят бывшие комсомольские секретари, я бы назвал этого человека идиотом.

Будущее казалось безоблачным. Чехословакия была далеко.

Именно тогда я начал писать. Боже мой, что я писал! Простите меня, испорченные листы! Простите меня, исписанные тетради!

Я сидел и мучился. Эти муки были муками творчества.

Творчество было графоманским. Я не понимал, почему Куваев складывает слова во фразы и у него получается волшебство, а у меня сухой текст, на который не хочется смотреть. Почему у Валентина Катаева текст, а у меня лепет ребенка, которому простят всё и простят все, только не я сам. Ну почему, почему, у одного получается волшебство, а другой ходит с натертыми ногами? А потому, братцы мои, потому что талант не зависит от человека. Талант — это умение наматывать портянки. Достается либо от Бога, либо приходит с практакой. Надо много работать. Будешь лениться — все твои мозоли будут видны окружающими. А что в этом случае можно сделать? А не надевай сапоги! Иди учись наматывать портянки! Или по крайней мере прячь ноги под скамейку.

Хотелось заплакать.

Я сказал себе:

— Урод! Начни все сначала!

Это случилось через тридцать лет.

Плохо верилось в то, что во второй раз все получится. Если ты опозорился однажды в постели с женщиной, не думай, что получишь второй шанс. Тебя не простят. Если она не получила удовольствия в первое свое соитие, на хрен ей вторая попытка? Попытка нужна не читателю, а автору.

Хреново сознавать, что ты бездарен.

Но бездарность похожа на триппер: если уж она есть, то каждый раз ты будешь морщиться и кусать губы. И пытаться показать, что ты не просто здоров, ты — способен на многое. Хотелось и хочется таланта, но, видимо, когда его раздавали, я стоял в очереди за чем-то другим.

На кой черт мне сдались книги, в которых нахожу удовольствие лишь я сам? Нет, правда, иногда я открываю свою собственную книгу и вижу, насколько я на бумаге умней самого себя. Но это, к сожалению, бывает не всегда.

В обшарпанном деревенском Доме культуры показывали фильмы. Куда там нынешнему кино! Там я впервые увидел «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операцию «Ы», там я смотрел немецкие фильмы о Следопыте, в которых благородного индейца играл югослав Гойко Митич, и еще я там посмотрел фильм «Подвиги Геракла», который нам тогда ужасно нравился. Еще показывали различные итальянские фильмы с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, но на них приходилось ходить тайком — принцип запрещения просмотров детьми до шестнадцати лет тогда действовал неукоснительно.

Лето кончалось, и я возвращался в город.

Было интересно смотреть в окно, за которым проплывали

знакомые места, было здорово возвращаться, возвращаться всегда очень здорово, от возвращений начинает жить заново человеческая душа.

Машина времени на одного человека

Уэллс! Господи, ну конечно же, Уэллс!

Он входил в мою жизнь стремительно и запоздало, как комета, потерянная астрономами и внезапно объявившаяся на небосводе.

Сначала был «Человек-невидимка» — история одинокого обозлившегося человека, который подумал, что стать властелином мира легко. Самая поразительная сцена — это сцена безобразного убийства Гриффита, когда начинают молочно просвечиваться кости тела, потом становятся видны кровеносные сосуды, вены и артерии и наконец проявляется тело измученного, избитого, исстрадавшегося человека. Гениальная задумка, превратившаяся в не менее гениальный роман. Я читал его взахлеб, а впереди еще были романы Уэллса «Война миров», «Остров доктора Моро», «Когда спящий проснется», «Люди как боги» и, конечно же, «Машина времени». Было немного забавно и вместе с тем жутковато читать про эллоев и морлоков, ведь я уже читал «Возвращение» и «Далекую Радугу», я твердо знал, *какое будущее возможно,* а какое — нет.

Но сама мысль о возможности путешествия во времени потрясала. Что будет, если ты убьешь своего дедушку до того, как им будет зачат твой отец? А возможность посмотреть живую Древнюю Грецию, увидеть походы Александра Македонского, посмотреть на крестовые походы и побывать на строительстве египетских пирамид? А увидеть будущее, и не просто увидеть его, а сравнить со своими представлениями о нем и с утопиями, прочитанными к тому времени?

* * *

К тому времени уже был прочитан рассказ Брэдбери «И грянул гром» о раздавленной бабочке, которая изменила мир. В подобное изменение не верилось, впрочем, Брэдбери писал скорее всего совсем не о том, он писал о необходимости бережного отношения к прошлому. Это тем более актуально сейчас, когда мы вновь в который раз начинаем оплевывать свое прошлое, по глупости и недомыслию не понимая, что изменяем Будущее, и отнюдь не в лучшую сторону.

Уэллс был первооткрывателем. Идея лежала на поверхности, но он первый ее заметил и придумал Машину Времени, даже не подозревая, что на деле она уже существует. Машина Времени —

это человеческое воображение. Воображение человека позволяет ему путешествовать в прошлое и будущее, более того, оно позволяет человеку путешествовать в миры, которых никогда не было и не будет. От этого миры не становились менее достоверными, их достоверность зависела от богатства и силы воображения.

Вообще очень Заманчиво представить себе, что созданные человеческим воображением миры начинают существовать в действительности. Где-то на планету Венера опускается фотонный планетолет «Тахмасиб», и путешествует по повелению фараона Баурджед, пытаясь достичь загадочной Ойкумены, и можно поговорить с Сократом, жаль только, что я не знаю древнегреческого.

Мое воображение рисовало фантастические картины, когда я читал книги. Сколько путешествий я совершил, листая страницы разнокалиберных книжек, разнокалиберных по объему, цвету, размерам, иллюстрациям и степени таланта авторов, которые их написали. Многих я уже упомянул, о многих еще обязательно надо сказать, ведь они дали мне возможность побывать в доисторических временах, увидеть динозавров и хищных стрекоз, многометровые папоротники и чудовищных рептилий, греющихся в теплых болотах юрского периода. Они дали мне возможность побродить по Луне и планетам прежде, чем на них ступила нога человека. Я смотрел на Землю с Луны раньше, чем это сделал Армстронг, и Луна у меня была каждый раз новая — то с селенитами, то без них. И к звездам я Летал не раз, для меня это было плевое дело, привычное, как поездка в центр города на трамвае или автобусе.

В «Пионерской правде» печаталась повесть А Ломма «Ночной Орел» о русском десантнике, который научился летать и начал наводить шорох в тылу у немцев. Помнится, мы читали ее с упоением, мы ждали каждого нового номера с таким нетерпением, какое сейчас, во времена книжного изобилия и пресыщенности, трудно даже представить. «Пионерская правда» того времени — она сделала многое, чтобы фантастика вошла в наши детские сердца.

К слову будет сказано, именно в «Пионерской правде» печаталась научно-фантастическая повесть тогдашнего шестиклассника, а ныне известного академика А Фоменко, взявшегося перевернуть наши представления о мире и его истории и доказать, что древнего мира не было и во всем виноваты крестоносцы и недобросовестные летописцы. Повесть как повесть, в темном сарае домика над обрывом придумывались

истории и поярче. И все-таки, читая его нынешние книги, основанные на математическом анализе, я вдруг подумал — лучше бы он продолжал писать фантастику! В гуманитарные науки нельзя лезть с цифирью, напрасно он пытается алгеброй гармонию проверить, мне значительно ближе фантастический «Спартак» Джованьоли, «Капитан Сорви-голова» Буссенара или не менее фантастическая «Одиссея капитана Блада» Саббатини, ведь в них исследовались — пусть и в романтической форме — характеры человеческие, а исторический фон только придавал этим произведениям особую прелесть. Я плакал над встречей Овода и кардинала Монтанелли в камере тюрьмы, я мчался по пыльным дорогам Франции на пыльном скакуне вместе с тремя мушкетерами и неугомонным д'Артаньяном, пусть даже все эти истории были просто придуманы талантливыми людьми.

Ужасно интересно было узнавать особенности китайской цивилизации, знакомиться с суровыми законами «Яссы» Чингисхана, следить за мыслью Аристотеля и Пифагора, листать дореволюционные журналы «Вокруг света» и «Всемирный следопыт». Нам открывался мир, он был многолик и необычен, в нем запах кизяка в среднеазиатских городах смешивался с запахами фруктового шербета, шафрана и миндаля, в нем пахло морозной тайгой и арабской фантастической кухней, в нем деловитые переселенцы Старого Света добросовестно отстреливали бизонов и аборигенов Нового Света, буры дрались за свою независимость, бедуины на одногорбых верблюдах пересекали знойные пустыни, а в этих пустынях вставали невероятные миражи.

Удивительные истории случались в прошлом, даже если они и были придуманы фантазерами. Уже значительно позже я с удовольствием читал новый вариант легенды о Летучем Голландце, придуманный Константином Кудиевским в рамках украинского «химерического» романа. История любви красавицы Камы и русского моряка с потерпевшего кораблекрушение сухогруза потрясала воображение.

Но все-таки значительно чаще меня влекло в будущее.

Надо сказать, что время шестидесятых к этому очень располагало. Прошел спор физиков и лириков. О нем теперь мало кто помнит. Физики на полном серьезе утверждали, что наступило время рациональности и расчета, лирика в современном мире ничего не значит и они прекрасно обойдутся без стихов, без щебетания птиц и рассветов, без этого ненужного

слюнтяйства, которое называют нежностью души. Лирики утверждали обратное. Кто был прав в спорах, не стоит и говорить. Зря, что ли, физиков потянуло в горы, в тайгу, в знойные пустыни и на ледяные реки? Единения с природой захотелось. А это уже чистая лирика. Был молодой Евтушенко, был молодой Вознесенский. Это сейчас они заматерели и запенклубились, из блистательных заграниц не вылезают. А тогда были нормальные ребята. И стихи писали отличные. Был в них пушкинский полет души.

А еще стремительно начались полеты в космос. После Быковского, Николаева и Терешковой с Поповичем стало кат заться, что до Луны уже рукой подать. Подумаешь, четыреста тысяч, километров! Рукой можно пощупать. И сомнений не было, что первыми там будут наши. Кому же еще?

Вот говорят, что советская[4] фантастика беднее англо-американской. Это как посмотреть. Буйству живых форм на Венере в романе Беляева «Прыжок в ничто» мог бы позавидовать и Степлтон. Но, положа руку на сердце, в каком мире хотелось бы жить? В мире «Торговцев космосом» или в мире «Внуки наших внуков»? В мире «Марсианских хроник» Брэдбери или в мире Светлого Полудня братьев Стругацких? То-то и оно, мир советской фантастики был всегда добрее и чище, он чаще говорил о перспективах и реже о негативных вариантах. Впрочем, и в негативе всегда оставалась какая-то надежда. Нам всем был близок мир «Понедельника», который, как известно, начинается в субботу, — именно потому, что на интересную работу хочется не только бежать, с нее уходить не хочется!

А у американцев шла бесконечная война, были нескончаемые фронтиры, они ведь и сами были поселенцами и покорителями, эти первые переселенцы в Новый мир.

Хотелось гулять по векам, как в «Спирали времени» Г. Мартынова. Я путешествовал по Марсу и Венере, я плавал в кольцах Сатурна, меня плющило в водородных безднах Юпитера, меня колбасило в Поясе астероидов, я ловил кайф на планете Видящих Суть Вещей, и это было тем более странно; что совсем рядом с этой планетой располагалась другая, на которой строили свое коммунистическое общество чернокожие каллистяне.

Много позже я понял, что коммунизм — это не общественный строй. Это состояние души, которой нужен весь мир и которая живет ради этого мира. Коммунистов в мире много, они даже не подозревают, что они коммунисты. А все потому, что однажды спутали состояние души с бесклассовым обществом. Попытки

построить такое справедливое общество были и будут. Это как изобретение самолета — если изобрели, на нем обязательно будут пытаться летать. Сначала он ткнется носом в васильковое поле. Потом продержится в воздухе первые десять секунд, потом пролетит расстояние, чтобы уткнуться носом в подножие холма, а потом он все-таки полетит, полетит как миленький. Последняя попытка летать была самой удачной, хоть и трагичной. Но ведь она не самая последняя. Трудно преодолеть человеческую косность и эгоцентричность, трудно преодолеть корысть и жадность, довлеющие над человеком, но ведь из серого кокона всегда вырастает прекрасная бабочка. Жаль только, что я этого не увижу. Впрочем, почему же? Разные модели светлого будущего я видел, путешествуя в своем воображении по чужим мирам.

Солнечная Система Гуревича была выстроена нудновато-подробно, но поражала воображение космическим строительством, для которого использовались планеты системы. Вообще-то это было сродни изменению течения сибирских рек, Гуревич живописал свое строительство, нимало не задумываясь, что произойдет, если природное равновесие будет нарушено в космических масштабах. И еще у него была идея ратоматоров, которые позволили бы из атомов воссоздать любую структуру, включая человека. Но ведь это бы означало полнейший переворот в психологии и философии людей! А этого переворота в утопии заметно не было.

«Туманность Андромеды» Ефремова была холодной и патетичной, в ней часто не говорили, а изрекали, люди в ней выглядели этакими матерыми человечищами, холодными глыбами, на которые не хотелось даже опираться.

Люди будущего из утопии Сафроновых «Внуки наших внуков» выглядели ходячей иллюстрацией к спору физиков и лириков, они были по уши в науке, по горло в открытиях, на простые человеческие чувства у них просто не оставалось времени.

Более мелкие произведения вроде «Веточкины путешествуют в будущее» или детские повести В. Мелентьева носили иллюстративный характер, причем иллюстрировали они положения насквозь фантастических программ партии и расхожих представлений о счастье.

На этом фоне мир полдня братьев Стругацких смотрелся выигрышно. В нем жили люди, которых мне хотелось назвать друзьями, среди которых хотелось жить и работать. С каждым произведением этот мир углублялся, обретал рельефность и мускулатуру, в нем появлялись проблемы, которые хотелось решать.

Удивительно ли, что я выбрал его в качестве своего идеала?

Да не я один, многие любители фантастики и просто читатели были влюблены в этот удивительно светлый мир.

Но путешествия заканчиваются с последней страницей.

На Земле меня ожидало нечто иное.

Второй километр и все, все, все

Второй километр состоял из частных домов и ведомственных флигелей. Был один трехэтажный кирпичный дом на двадцать квартир и еще парочка двухэтажных, но основу его составляли все-таки дворы, в которых росли абрикосы. Когда они цвели по весне, кривые улицы плыли в бело-розовом дыму.

Второй километр. Родина шпаны и романтиков.

Над цветущими абрикосами рвался хриплый пронзительный голос:

Мерцал закат, как сталь клинка, Свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока Взвод зарывался в облака И уходил по перевалу.

Обычно мы собирались в сарае у Петьки Жукова. Там рождались первые фантастические истории, которые сочинялись с ходу, вживую. Скорее их надо было бы отнести к жесткому хоррору, но тогда подобных делений просто не было. Несколько вечеров рассказывалось о корабле живых мертвецов, а когда эта история подошла к концу, появилась новая — о бункере упырей на Мамаевом кургане. На слушателей истории действовали — иногда кто-нибудь уныло говорил: «Давайте о чем-нибудь веселеньком. Мне домой у оврага идти…»

Неподалеку от Петьки Жукова в таком же типовом флигеле жил Трумэн. Нет, не президент, но ранее судимый, получивший в кличку имя американского президента. За что он ее удостоился, мне неведомо. Может, за разговоры о политике. Может, за любовь к оружию — время от времени милиция проводила у Трумэна обыски и всегда уходила с добычей — немецкими гранатами с длинными ручками, автоматом ППШ или «Шмайссер», пистолетами разных марок, а на худой конец — с пригоршнями желтых маслянистых патронов. Через некоторое время у него появлялось что-то новое. За незаконное хранение оружия Трумэна не сажали, у него была справка из дурдома, которая делала его неуязвимым и неподотчетным обществу. Порой мы забегали к Трумэну послушать лихие зэковские истории, которые теперь мне кажутся унылыми и скучными. Ещё у него можно было выпить самогона, покурить планчика, одновременно учась правильно забивать косяк в «беломорину». Было, братцы, было! Слова из песни не выкинешь!

Трумэн жил рядом со школой. Восьмидесятая школа являлась восьмилеткой. Она стояла над оврагом. Директором ее был пожилой еврей, которого звали Исаак Львович Сирокко. Ученики его ласково называли Ишаком Львовичем и не любили за

строгость. В школу директор приезжал на ушастом «запорожце». Однажды Калин, Краюха и еще парочка раздолбаев, для которых учеба была тяжким путем познания, процессом, после которого следовало весело отдыхать, взяла и спустила этот «запорожец» в овраг. И в это время вышел ничего не подозревающий Ишак Львович. Увидев свою машину в овраге, он покачал головой и попросил оказавшихся поблизости учеников вытащить ее обратно. Надо ли говорить, что учениками оказались Калин, Краюха и вся компания раздолбаев? Между прочим, вытащить машину из оврага оказалось куда труднее, чем ее туда скатить!

Мы жили в поселке как лебеда на его задворках — неистребимо и весело. Вечерами мы бродили по поселку, пели под гитару и уже начинали пробовать приторные дешевые вина, которые покупались в складчину в магазине «на песках». Время от времени кто-то гиб от взрывов, кто-то попадал под машину или в милицию — эти события были тогда равнозначными по тяжести последствий. И все равно мы радовались каждому дню, бегали вечерами на киноплощадку около сорок первой школы, дрались на Мамаевом кургане с краснооктябрьскими пацанами, а в овраге у школы — со сверстниками с поселка Газоаппарат. Нас называли презрительно и испуганно второкильдемовцами, а где-то, по слухам, существовали центровые, даргорские и ангарские. Тогда еще существовали рыцарские правила ведения боев — дрались до первой крови, не били кодлой, но уже появились в арсенале железные пруты и велосипедные цепи.

В выходные мы часто отправлялись в кино. Обычно мы ездили в кинотеатры «Родина» и «Победа», только однажды Сашка Галкин потащил меня в город Волжский, где в кинотеатре «Старт» шел фильм «Вперед, Франция!». У меня в дороге разболелся зуб, я был мрачный, но — о чудо кинематографа! — после фильма я вдруг обнаружил, что зуб уже не болит, а настроение превосходное.

Однажды я получил записку, в которой мне предлагалось прийти для сведения некоторых счетов во двор школы. Разумеется, в вечернее время. Вызов был брошен. Не пойти в школьный двор просто нельзя, я слишком дорожил честью, чтобы ее отдать за спокойствие и целый нос. Я шел к школе. По пути меня встречали знакомые. Узнав, куда я иду, они из любопытства отправлялись вслед за мной. К назначенному времени зрителей было как в театре. Только бинокли билетерши не раздавали. Я не обольщался, вызов бросили мне, и решать вопросы своей защиты мне предстояло самому. Остальные были зрителями.

Однако никто не приехал. А если и приехал, то не решился войти в школьный двор.

И в то же самое время я продолжал читать. Честнее слово, это занятие гораздо интереснее телевизора и кино. Героев создает твое воображение, читая книгу, ты представляешь события самостоятельно, и они окрашены в твои собственные эмоциональные цвета, ты представляешь изображенный мир исходя из собственных восприятий. Тебе не навязывают, ты все берешь сам.

В то время мы с Санькой Галкиным были под впечатлением от повести Стругацких «Попытка к бегству» и даже писали киносценарий для фильма. По замыслу, сцены, относящиеся к двадцатому веку, должны были быть черно-белыми, эпизоды коммунистического будущего — цветными. А происходящее на Сауле должно было сниматься в таинственных багрово-красных тонах. Нет, мы это тогда здорово придумали. Уже лет через тридцать кто-то из режиссеров использовал приемы цветовыделения, чтобы усилить эффект сцен. Но мы-то были первыми! Вернее, мы таковыми себя считали, пока вдруг я не узнал, что еще за тридцать лет до нас этот прием использовал Сергей Эйзенштейн, сделав цветной пляску опричников в своем черно-белом фильме «Иван Грозный». Нет, черт возьми, все уже написано, все уже придумано, и нет нового под луной, и нет нового под солнцем, вздохнули мы печально.

Я продолжал читать книги. Сергей Снегов уже прочно вошел в мою жизнь, хотя я и понимал, что люди не боги.

Очень даже не боги. Алкаши и склочники богами не бывают. Таких не-богов вокруг меня было пруд пруди. Они пили, дрались, били жён, резали друг друга кухонными ножами, садились в тюрьму и клянчили рубли на опохмелку, стоя у магазинов. Но было так здорово читать о вторжении в Персей, о галактах и зловредах и о прочих небожителях, целоваться со змеедевушкой с Веги, прослушивать вселенную и драться за нее, как за родную Землю. Был конец шестидесятых, Александр Мирер написал великолепную повесть «У меня девять жизней», которую печатал журнал «Знание — сила». В повести была воссоздана *биологическая* цивилизация. Это увлекало. Повесть была трагическая. И это поражало. Я еще не понимал, что время счастливых утопий ушло безвозвратно.

И еще я не знал, что на подходе главные книги братьев Стругацких «Град обреченный» и «Гадкие лебеди». Впрочем, в шестьдесят восьмом «Гадкие лебеди» объявила «Молодая гвардия» в своем тематическом плане. Однако льды уже перестали таять, начинался еще совсем незаметно очередной

ледниковый период, перепившие свободы «шестидесятники», еще хмельные от испитого, правда, пытались рваться на страницы печатных изданий. Но чаще разбрасывали листовки в ЦУМе и протестовали *против всего.*

Поклонники фантастики яростно искали вторую часть «Улитки на склоне», напечатанную в журнале «Байкал». Но мощные комбайны Искоренения работали прекрасно — они искореняли все, что только могло представлять опасность для Администрации Леса. В числе прочего комбайны искореняли сам Лес. Оставалось совсем немного до того времени, когда мы проснемся в запущенной грязной лесополосе, рядом с которой кто-то воткнул табличку «Частное владение». Рядом мы увидим сломанный и пока ненужный комбайн. Искоренение ереси обернется победой мещанства. Ересь — это зерно, из которого прорастает Будущее. Ересь появляется как антитеза догме, ведь что может быть хуже затхлых обсосанных и имеющих привкус нафталина догм? Только уверовавший в эти догмы.

Для того чтобы увидеть, чем обернутся для общества комбайны Искоренения, следовало проснуться. Или хотя бы открыть глаза. Теперь я это понимаю, а тогда по молодости лет не понимал. У книгочеев и романтиков всегда закрыты глаза. Они видят будущее солнце, а не сегодняшнюю бытовую грязь.

К Марсу летели межпланетные станции «Фобос» и «Маринер». Нет, это не было сотрудничеством, это продолжалось соперничество. Сгорел в атмосфере «Восток», пилотируемый летчиком-космонавтом Комаровым.

Это был звонок, которого не услышал никто. Восток занимался зарей грядущего пожара.

Второй километр был заповедником, в котором водилась шпана. Говорили о братьях Лебедях, о Титах, которые посадили мужика в мешок и с криками «Шила в мешке не утаишь!» принялись тыкать его этим самым шилом. Много жутковатых историй ходило о Втором километре. Да и это понятно — здесь после войны селились освобожденные из тюрем, бывшие «штрафники», и строители Волжской ГЭС, которая в значительной мере построена теми, кто смотрел на мир из-за колючей проволоки, По сравнению с нами дома рядом с Качинским училищем были образцово-показательными. Здесь жили отличники — к ним мы относились с подозрением. Они никогда не прогуливали уроков, не копали блиндажи на Мамаевом кургане и немецкие могилы за Моторным заводом, они хорошо учились и ходили чистенькими и аккуратными.

Отличники и комсомольцы потихоньку входили в мою жизнь.

Сначала я познакомился с умной и язвительной Галкой Лаврищевой. Мы дружили. У нее дома была библиотека, а в ней пятитомник Александра Грина. Грин нравился Галке, но он нравился и мне. Мы долго обсуждали повести и рассказы Грина, сидя в ее комнате вечерами.

Странное дело, не мог понять, почему мне нравился Грин. Романтик и идеалист, и вместе с тем в его «Бегущую по волнам» вдруг врываются нотки чуждой Грину меркантильности. И все-таки, все-таки, все-таки… Хорош он до изумления — и «Алые паруса», и «Блистающий мир», и «Вперед и назад», и «Дорога никуда», и «Бегущая по волнам». Недавно перечитывал его книги и вдруг понял — в грубой душе Грина жил чистый наивный ребенок. Такой же, как живет в глубине каждого из нас, если отбросить всю шелуху, накопленную с годами.

Она открыла мне Маяковского. Это сейчас находятся литераторы, для которых хороший тон лягнуть классика. Но он несравненный метафорист, у него строчки кипят, в них пульсирует жизнь, умению его работать с рифмой можно только тоскливо завидовать, а у этих литераторов, что пытаются его лягать, в строках кисло и пусто, как в заброшенном коровнике;

У Маяковского было космическое мышление. Он стоял вровень со звездами. Он художник, создававший несколькими штрихами зримые и впечатляющие картины.

Ну кто еще мог написать?

Испанский камень
слепящ и бел,
а стены
зубьями пил.
Пароход
до двенадцати
уголь ел
и пресную воду пил.

И кто мог быть таким безукоризненно нежным, удивительным, как водопад, рушащий воду с горного склона:

Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться, жадно дыша?
Дай хоть последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

А топтать его пробуют серости, которые никогда ничего путного не напишут. Я заметил, что большие талантливые люди в дрязги и ссоры обычно не влезают. Им это не нужно. Дрязги организуют обычно люди, которые находятся рядом с литературой. И они отлично знают, что находятся рядом, а хочется быть внутри. Можно быть деревенщиком и с тем писать о Вселенной, можно писать о современном городе, и это будет рассказ о параллельных пространствах, а можно и наоборот — варишь варенье, но получается в конце концов деготь. Все зависит от состояния и величины авторской души. «Косые скулы океана» — это не для каждого. Большинству достаются «ландыши — Первого мая привет». Не надо, не надо меня разубеждать, есть идеалы, а они не меняются.

Лаврищева тоже была поклонницей Маяковского.

Не помню, наверное, через Галку я познакомился с Димкой Согнибедой, сыном военного преподавателя из Качинского училища. Дружба это сохранилась и сейчас, хотя нас разделяют тысячи километров и виделись мы за последние десятилетия считанное число раз. Димке тогда нравилась Ира Павлова — бледная, красивая, хотя и чуть длинноносая девочка из нашего класса. Они единственные в нашем классе, чья детская привязанность оказалась на всю жизнь. Уже после окончания школы они случайно встретились и поняли, что это навсегда. Они поженились.

Мне нравится такой конец у романов.

У Грина концовки печальнее. Но романтичнее.

Помню, как мы впервые отмечали Новый год. На пластинке была песня Лили Ивановой «Венера» и пел Борис Гуджунов «Вместе счастливы». Почему-то обе песни были грустными. Это было уже в девятом классе. Перед этим в августе мы с Димкой ездили дикарями на Ахтубу под Ленинск. Ездили, конечно, не одни — с нами был одноклассник Лешка Федоров и его отец, который над ним буквально дрожал. Лешка у них оказался единственным ребенком и к тому же болел наследственной болезнью королей и знатных фамилий. У него была гемофилия, кровь плохо сворачивалась. Так оно все и получилось — однажды, когда мы окончили школу, Лешку ударил какой-то подонок, разбил ему нос, и Лешка истек кровью: Но тогда мы были веселы, азартны и полны желания жить. На Ахтубу мы приехали потому, что там, в лагере, отдыхала Иринка Павлова, а Димка обещал к ней приехать. Мы жили в трехместной палатке. Отец Лешки Федорова был военным, а потому навел железную дисциплину. Мы вели походную жизнь, учились варить кашу на костре. Димка плавал на свидания с Иринкой, а я ловил рыбку. Если сесть на

берегу, привязать к пальцу кусок лески, а на другом конце ее закрепить крючок, то можно ловить на хлеб плотву и красноперок безо всякого поплавка. Палец чувствует поклевку, и ты раз за разом вытаскиваешь рыбешек — довольно маленьких, чтобы потом хвастаться уловом, но вполне пригодных для того, чтобы сварить уху.

Стоял август. С небес падали звезды. Где-то в песках, по преданию, монгольскими завоевателями был зарыт золотой конь в натуральную величину, Ахтубу пересекали, высоко держа маленькие круглые головы, черные гордые ужи, стрекозы садились на головы и плечи нас троих, и это означало, как говорил Федоров-старший, что мы вырастем хорошими людьми.

Потом я подрался. Кто-то оскорбил Ирку, а драться пришлось мне, Димка для этого не был предназначен, его-то и в школе прозвали Дамочкой. Федоров-старший справедливо посчитал драку грубым нарушением внутреннего распорядка нашего лагеря и увез нас с Ахтубы.

Знаете, теперь вот, вспоминая и плывя по течению, я вдруг сообразил, что мы были достойным материалом, чтобы из него вылепить будущих жителей Светлого Полудня. В нас было зерно, которое могло прорасти. Просто наши правители не знали, как к этому подступить. Они полагали, что запретами можно добиться многого. Ерунда! Запретами ничего не добьешься. Это как флажки, которыми окружают волка, — он начинает метаться, нервничать и сходить с ума, в нем рождаются злоба и ненависть к тем, кто его окружил флажками. Человек, как и всякое живое существо, должен быть свободным.

Это твердое убеждение человека, который почти всю свою жизнь прожил в клетке для попугаев. И вообще есть такой анекдот застойной эпохи: зэк освобождается из колонии и небрежно кивает прапорщику: «Счастливо тебе оставаться за решеткой!» Все мы жили за решеткой — только по разные ее стороны.

Но ребенок — это всегда обещание, даже если оно не сбывается. Мы были фантазерами и конструкторами, во многих из нас горела Божья искра, которая превратилась позднее в пепел, а все потому, что ей незачем было гореть.

Поэтому я вспоминаю детство — тогда мы еще не задумывались о мире, в котором живем, мы твердо знали, что окружающие нас пространство и время удивительны, а будущее — великолепно.

В двери настойчиво стучались семидесятые годы. Они были

не хуже и не лучше уже прошедших. Они были другими. Властно распространялся блат — все было по знакомству. С голубого экрана черно-белого телевизора шутил Аркадий Рай-кии. «Пусть будет все, говорил он от имени безвестного товароведа. — Но пусть чего-то не хватает!» Товаровед и завскладом становились столпами общества. Пусть говорят, что мы жили нище, пусть. Но общество жирело. Людей начинали рассматривать с точки зрения полезности, в жизнь входил принцип «ты — мне, я — тебе». Книга становилась предметом роскоши. Ее не читали — Боже упаси! Она занимала почетное место на полках полированных стенок. Наличие дефицитной литературы служило мерилом положения человека в обществе и его востребованностью в мире, где встречали по одежде, а провожали… Нет, не угадали, не по уму. Провожали по хитрожопости и умению доставать дефицит. Для некоторых это становилось профессией.

Никто еще не задумывался, куда идет мир. Одинокие братья Стругацкие думали о том, что может стать стимулом постоянного прогресса при социализме. Они рылись в моделях и не находили такого стимула. Начальники от науки вообще ничего не искали. В журнале «Коммунист» печатались бодрые статьи о развитом социалистическом обществе и новой общности людей — советском народе. До времени, когда эта новая общность поделится и начнет бодро резать друг друга, оставалось по меркам истории всего ничего. Натуру человека и его душу не изменишь правильными словами. Революционная пассионарность, пройдя от обгаживания древних ваз в дворцах и срезания кожи с кресел на сапоги к созиданию и возведению Днепрогэсов и городов в Сибири, медленно угасала. На смену хаму с голубыми кровями пришел хам с красной кровью. Он ничего не знал и не помнил о прошлом, он полагал, что у него есть будущее. Но будущего у него не было. Цивилизоваться оказалось легко — достаточным было снять сапоги и напялить лакированные штиблеты, а армяк заменить дубленкой. Изменить человеческую натуру, сделать души пригодными для будущего коммунистического общежития оказалось гораздо сложнее. Сталин пытался вытравить чувство собственничества и эгоизма страхом. Оказалось, страх не слишком надежное лекарство. Оно не лечило, оно загоняло душевные болезни внутрь. А если что-то гниет внутри организма, то это гниение рано или поздно прорвется нарывом. Нарыв вызревал.

Рядом с нами очень добросовестные люди из Службы Искоренения очень добросовестно выполняли свою работу. Они культивировали поле и выпалывали сорняки, которые не

вписывались в представление начальства об обществе. Но то, что благоприятно для огурцов и помидоров, не слишком подходило для людей. Сорняк в человеческом обществе — это преступник. Служба Искоренения, в которой работало очень много людей, искореняла все, что не походило на среднего человека, достойного, по мнению правителей, Светлого Будущего. Мир загонялся в средний уровень, где правит посредственность. Вместо кухарок к управлению государством приходили товароведы. Идеалом становились двести сортов колбасы, которая в силу блата исчезала с прилавков. Некому было изгонять лавочников и менял.

Уже заговорили о том, что фантастике, особенно социальной, достойное место лишь в корзине редактора. Начали разгонять профессионалов из «Молодой гвардии». Да и саму ее молодой уже можно было назвать только с натяжкой — выпускалась литература для душевных пенсионеров. Странно, но жанр, который самой судьбой предназначался для того, чтобы остерегать людей от ошибок и показывать, для чего мы на самом деле живем, оказался в загоне. Лес Будущего благодаря Службе Искоренения обращался в болото, на котором кроваво краснела брусника.

Детство кончается, когда ты сам начинаешь чувствовать себя взрослым.

Для меня этот рубеж отмечен переходом из одной школы в другую. Восьмидесятая нас отпускала, мы выросли из ее коридоров, из ее двора, из ее учителей, которые достойно учили нас всему, что они сами знали. Восьмидесятая нас отпускала, и мы уходили в другую школу — более высокую, новую, красивую, с огромным спортзалом, с незнакомыми учителями, которых нам предстояло узнать и которым предстояло узнать нас. Пятеро выпускников Второго километра — Саня Ерохин, Васька Попков, Саня Башкин, Петька Жуков и я.

Пятеро волчат со Второго километра выходили в большой мир.

Но это уже совсем иная история о Маугли. В этой я сказал все, что хотел сказать, ну, почти все, потому что умение сказать что-то относится к самому высокому человеческому искусству. Впрочем, как и умение слушать. Не мне судить, насколько я был искусен как рассказчик, об этом судить слушателю.

Мне почти пятьдесят. Я смотрю теперь на жизнь по-иному. И это понятно. У всего в мире есть начало, и у всего рано или поздно обнаруживается, как это ни печально, конец. Если ты

начал думать о прошлом, то печальное будущее приблизилось к тебе вплотную.

* * *

Детство прошло. Мы перешли в подростковый возраст. Подросток — это набухшая почка, готовая распуститься взрослым листом. Мы обещали расцвести невиданными цветами, мы были готовы к этому.

Наше взросление пришло на время медленного гниения ствола. Можно было красиво обозвать это время стагнацией, можно незатейливо назвать застоем — ясно одно: это была зима, а как известно, во время морозов цветы расцветают только в тепличных условиях, а деревья зеленеют только на юге, где этих морозов нет.

В краях, где было тепло, жили папуасы, а тепличных условий нам никто не создавал.

Общество медленно замерзало, а в городе стояло пронзительное знойное лето. Мы старались стать взрослыми — наивно и горделиво ухаживали за девчонками, пили приторно-сладкий портвейн «Хирса» в беседках, пели под гитару мужественные блатные песни и даже не брезговали матерком. На руках некоторых появились наколки. Некоторые начали курить. Тогда мы еще не понимали, что взросление — это всевозрастающая степень ответственности за свои дела и поступки. Мы пытались стать взрослыми, но не знали — как.

В это лето в читальном зале я набрел на Клондайк. Я открыл для себя новую Ариадну Громову и раннего Георгия Гуревича. Там были «Миры приключений» — толстые и огромные разноцветные тома, а еще ко мне в дом пришли Уиндэм с его триффидами, космический Артур Кларк, готически мрачный Гофман, сумасшедший Итало Кальвино, и я узнал, как кончается Вечность, если за дело берется многомудрый сэр Айзек Азимов.

Битлы уже перестали быть запретными. На улицах соловьем разливался Валерий Ободзинский. О, эти глаза напротив! О, эта «Восточная песня»! Они сводили с ума девчонок моего поколения.

Я читал й перечитывал «Стажеры» братьев Стругацких, Все мы были стажерами на службе у Будущего. Мне хотелось на Марс, пусть там и водились зубастые беспощадные соратобу-хиру.

Земляне Сергея Снегова вторглись в звездное скопление Персей.

Осенью мы пришли в новую школу. Мы были чужаками. Перед нами расстилалась новая Вселенная, и ее надо было завоевать. Вселенную от нас защищали. В новой школе мне предстояло получить полуироничную кличку Пан Поэт. Я был юноша с безумным взором, мне нравились Маяковский, Есенин и Блок, и еще мне нравился Данте, которого вокруг никто не читал.

В тот год мы попрощались с детством. Сожалений никто не испытывал, мы еще не догадались, *что именно* мы потеряли.

Наступил новый учебный год. Но это уже, пусть я повторяюсь, совсем иная песня о Маугли. Рассказ о детстве закончен. Конечно, он не полон, конечно, память не сохранила многого. Но я не задавался писать мемуары, я просто рисовал портрет. Портрет ребенка на фоне счастливых и грустных времен.

С тех пор прошли годы. Стандартная фраза, тем не менее она отражает положение дел. Действительно, с тех пор прошли годы, которые вместили в себя многое. Они вместили в себя всю мою жизнь.

Мы были кузнецами своего счастья, и дух наш был молод.

Ковали мы счастия ключи, а если говорить точнее, строили мир Светлого Будущего. Того самого Будущего, в котором нам будет жить хорошо. Ну, если не нам, то нашим детям. Или внукам, в конце концов.

Долгое время меня волновал вопрос, почему мы этот мир не построили. Крылась какая-то недосказанность в том остервенении, с которым мы все принялись крушить фундамент, на котором возводилось строительство, рушить стены и бить в нем окна. Эта недосказанность долго смущала меня, и я попытался добросовестно найти причины наших неудач.

Ведь и эскиз был красивым, и архитекторы были неплохи, и работали мы все не покладая рук и не считаясь с тяготами и лишениями строительства.

Так вот, господа, если кто-то из вас уже привык к новому старому обращению, или товарищи, если вы еще не отвыкли от старого обращения, бывшего в начале строительства новым, я утверждаю, что строительство было успешным! Мы построили мир, о котором мечтали и в котором хотели бы жить.

Просто этот мир, который не виден самим строителям, не совсем обычен. Он — виртуален. Да, да, господа-товарищи, мы построили виртуальное Светлое Будущего, и оно оказалось виртуальным в силу объективных причин, о которых будет сказано ниже.

Уже много позже я одно время работал начальником районной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

Нам спускали отчет по борьбе с нетрудовыми доходами. Отчет это, как большинство ведомственных бумаг, был глуп и не нужен, а потому однажды был просчитан всеми составлявшими его порто потолочным методом, а позже тем же самым методом в него пропорционально добавлялись нужные цифры, а уж затем этот отчет достигал немыслимой красоты. В нужное время отчеты отправлялись в областные управления. Там виртуальные отчеты обрабатывали, несколько поправляли и дополняли, чтобы придать ему еще немного красоты, и отправляли в министерство обобщенный отчет, который выглядел еще красивей, но от реальности и истины был столь же далек, как далек от них рассказ мужчины о своих любовных победах. Такие же отчеты приходили со всей страны. Их обсчитывали, обобщали, дополняли, а в результате рождался уже совсем немыслимо красивый, хрустящий от своей торжественности Общий Отчет. В нем не было ни одной честной цифры, но тем не менее отчет этот отражал картину борьбы с нетрудовыми доходами в том ракурсе, в котором эту борьбу хотелось бы видеть Высокому Начальству. Высокое Начальство докладывало Отчет Высшему Начальству, а Высшее Начальство на основе этих виртуальных и постепенно становящихся ритуальными цифр осуществляло планирование беспощадной последующей борьбы, которая должна была окончательно свести нетрудовые доходы строителей Светлого Будущего на нет.

И ведь все это было не тенденцией, присущей моему родимому ведомству, но чертой, характерной для всего ведущегося по всем направлениям строительства, В стране росло незавершенное строительство, но каждый год Высшему Руководству докладывались красивые и впечатляющие цифры о пущенных в строй объектах и сданных метрах жилой площади. На основании этих цифр планировались новые долгострои, и незавершенка в стране росла, и нам, строителям Светлого Будущего, было негде жить, потому что квадратные метры жилья были виртуальными, и, следовательно, в них мог жить и работать лишь виртуальный гражданин. И именно виртуальные граждане вселялись в виртуальные квартиры и вставали в виртуальных цехах к виртуальным станкам, чтобы производить виртуальные ценности. Но мы-то учитывал и их в наших отчетах и победных рапортах!

Мы рапортовали об огромных урожаях и закупали хлеб за границей. Собранный нами хлеб ели виртуальные граждане.

Мы создали виртуальную литературу. По количеству государственных и иных премий, выданных нашим талантам, мы перещеголяли весь мир. Читать же мы продолжали Пушкина и

Толстого, Достоевского и Чехова, Гоголя и Лермонтова, Беляева и Стругацких, а когда совсем становилось невмоготу, мы читали самопально переведенные и отпечатанные на машинках и оттого страшно заманчивые западные боевики или пугающих своим кладбищенским реализмом Солженицына с Шаламовым. Виртуальные произведения наших лауреатов читают виртуальные жители нашей страны.

Хлопкоробы собирали на полях виртуальныйхлопок. Виртуальный хлопок превращался во вполне реальные деньги, на которые покупалась импортная одежда. В одежде из нашего хлопка ходили виртуальные граждане нашей страны.

Животноводы выращивали виртуальную скотину и птицу. В результате мы теперь едим финский сервелат и голландские сосиски, ножки Буша и западногерманскую ветчину. Наши виртуальные сосиски и колбасы ест среднестатистический виртуальный гражданин. И неудивительно, ведь мы долгие годы трудились для того, чтобы он был счастлив..

Десятки лет мы сидели на голом фундаменте и объявляли, что построили первый этаж, потом второй, третий, четвертый… Виртуальные жители нашей страны поднимались к солнцу в построенном нами виртуальном небоскребе, а мы продолжали сидеть на заложенном энтузиастами фундаменте и считали, считали, считали… Считать мы научились хорошо. Не зря же мы победили неграмотность.

Высокая отчетная раскрываемость преступлений привела к тому, что преступные одиночные группы сплотились у нас в грозную организованную преступность, превратившись в сообщества. Но в виртуальном мире преступности действительно нет, мы победили ее нашими отчетами и победными реляциями.

Мы так стремились быть первыми на Луне, что нас обогнали американцы. Но это только здесь. В виртуальном мире «лунных вариантов» нам равных нет.

Мы так долго проповедовали интернационализм, что он пророс распадом страны и кровавой Чечней. В виртуальном мире царит мир и спокойствие.

Мы были столь ярыми атеистами, что теперь лихорадочно строим сотни церквей и замаливаем грехи. Милиция собирает с пьяных водителей деньги на строительство очередной церкви, член Политбюро неумело крестится и целует руку, пахнущую ладаном и елеем. Но это здесь. В виртуальном мире, что мы так успешно строили, все иначе.

«Дети — цветы жизни», — говорили мы. Мы так старательно растили эти цветы, что теперь они произрастают на помойках и в грязных темных подвалах. Но это только здесь, там, в

виртуальном мире, они не моют машины толстосумам, они учатся и мечтают, как этого хотелось нам.

Мы долго и добросовестно строили наше светлое будущее. И мы его построили. Жаль только, что он оказался воображаемым. Жить в этом мире нам, к сожалению, нельзя. В нем могут жить такие же, как он сам, воображаемые люди. Мы построили наш мир.

Грязные и оборванные, гордые тем, что мы еще делаем ракеты и впереди всех в области балета, сидим мы на крошащемся от времени и ветхости фундаменте нашего вчера и поем хриплыми от ветров и водки голосами:

Гуд бай, Америка! О-о-о!
Где не был никогда я…

Порыв ветра подхватывает эти слова и уносит их в противоположную сторону, где мы тоже никогда не были и не будем; туда, где за снежными шапками Тянь-Шаня расположена удивительная страна Китай. Жители ее еще продолжают верить в виртуальные небоскребы. Отчеты, которые идут с мест, продолжают радовать глаз.

Где-то находится виртуальный мир, в котором: живут счастье и согласие. Виртуальные граждане улетают на своих виртуальных звездолетах к виртуальным звездам. Они живут виртуальным счастьем, побеждают виртуальные опасности, по-прежнему веря в свое виртуальное всемогущество.

Нам остались пожелтевшие страницы книг, когда-то завораживавших нас в детстве. Желтые страницы книг и тоска по несбывшемуся.

Очень хочется в мир, который снился тебе в детстве.

Маленький мальчик, читавший фантастику и мечтавший жить в мире мечты, где ты? Будущее пришло. Оно оказалось совсем не таким, как его рисовало твое воображение.

Я смотрю на книги своей библиотеки. Я собирал их с детства. Они были частицей моей жизни. Значительной частицей.

Боже мой! Как мы были счастливы в том мире, где взрослые и дети пытались рассмотреть первый «Восток» через бутылочное стеклышко, еще не зная, что он уже давно сел и Гагарин летит в Москву, чтобы пройти по ковровому покрытию с развязавшимся на ботинке шнурком, и было страшно, как бы он не споткнулся, так страшно, что все вздохнули с облегчением, — когда все обошлось. Книги нашего детства…

Они стоят на книжных полках потрепанными и потертыми, но это нисколько не портит их, наоборот, говорит о том, что они прожили свой литературный век не зря.

Книги нашего детства…

Они похожи на рыцарские доспехи. Которые выросшие дети уже не могут надеть, но в которых было совершено так много блистательных подвигов.

Я открываю их иногда и с сожалением вижу, что вырос из них, как вырастают из брюк и курток подростки, идущие строить и покорять окружающий их мир.

Я благодарен им, ведь они научили меня мечтать. Они научили меня думать. Они научили мое поколение жить на разрыв, чтобы потом не жалеть ни о чем, даже постарев и оставшись бездомным.

Я смотрю на книги моего детства. Штурман Кондратьев, ну зачем вы бросились покорять новый мир на допотопной черепахе с ядерным приводом, да еще с полюса?

Кондратьев молчит. Да и я не могу ответить.

Пусть другие говорят, что я жил в серой и безрадостной империи, пусть другие говорят, что моя жизнь осталась где-то в стороне от галактического потока.

Я думаю, что это не так. Я знаю это.

Я твердо уверен, что мне нечего стесняться прожитой жизни, пусть даже эта жизнь здорового и умного мужика была положена на то, чтобы убирать с человеческого пути бытовую житейскую грязь в виде разных сволочей и негодяев.

Я честно дрался и проиграл.

Я люблю свое Отечество, которое ушло в прошлое, стало частицей истории. По выражению моего друга Жени Лукина я — некропатриот. Я люблю Отечество, которое навсегда ушло вместе с двадцатым веком.

Житейская история. В жизни ведь всегда кто-то проигрывает. Ничто не вечно под луной — даже империи, которые казались вечными и незыблемыми.

Я живу в чужой стране, и даже язык, на котором в этой стране говорят, не всегда мне понятен.

Выросли новые дети. Эти дети читают новые книги. Дети как дети — они не хуже и, пожалуй, не лучше моего поколения. Они просто другие. Это неудивительно, ведь они родились в новой стране, они хозяева там, где я — иммигрант.

Мне и моему поколению остались пожелтевшие страницы книг, когда-то завораживавших нас в детстве.

Очень хочется в мир, который снился тебе в детстве. Мир, в котором мы превращались в фотонные лучи или строили

межзвездные корабли, в которых мы летели сквозь галактики, еще не зная, что прилетим в никуда.

Известный и очень талантливый ленинградский писатель Вячеслав Рыбаков, который теперь живет в Санкт-Петербурге, написал своеобразное продолжение «Туманности Андромеды». Это продолжение называется «Прощание славянки с мечтой».

Я его понимаю.

Я все понимаю. В том числе понимаю и мир, в котором теперь живу. В нем вместо артистичного Юрковского властвует умами мужиковатый, но богатый Брынцалов, вместо бесстрашного капитана Быкова и стеснительного штурмана Крутикова учит людей жить вороватый «генерал» Дима Якубовский, вместо задающего умные вопросы Жилина дает идиотские ответы юристи сын юриста Владимир Жириновский. В этом мире ум и совесть смело меняют на чистоган, а у людей вместо звезд в глазах отражаются доллары. На смену поколению романтиков пришло поколение прагматиков, хорошо знающих, что такое чистоган. Мы жили в стране зон, теперь мы живем в одной большой зоне, а над нами лишь паханы и братки. Охранять нас не надо, ведь мы никому не нужны.

Я не идеализирую мир, в котором жил, — в нем было страшно, как в старом вонючем колодце. Но над этим колодцем был виден кусочек неба, в котором сияли звезды.

Наверное, меня спасли. Так говорят. Я не буду спорить. Не хочется.

Я сел на краю колодца и отдышался. Придя в себя, я огляделся по сторонам. Империи не стало. Но все те же люди, которые не давали мне жить там, продолжают учить меня, как надо жить здесь. Кусочек звездного неба исчез, меня окружает душный мир, в котором не стало видно звезд.

Друзья, мы так долго шли к Светлому Полудню, что даже не поняли сразу — манил нас мираж.

Мираж растаял, мы растерянно огляделись и увидели на высоком холме город в дожде, а вокруг холма свился кольцом огромный и страшный змей. Мы опять в Граде Обреченном, и над нами неведомые и страшные существа ставят очередной эксперимент.

Я понимаю, что отныне это неизбежные реалии моего бытия. Как ни грустно, ребята, но мы никуда не летим.

Я все понимаю. Только не могу этого принять.

Я лишь надеюсь — однажды те, кто пришел после нас, поймут, что звезды нельзя разглядывать в сонной и грязной луже, надо обязательно поднять голову, и тогда станет видно, что утро уже наступило, а до Полудня не так уж и далеко.

Именно поэтому и ради этого я сел рисовать портрет мальчишки на фоне счастливых и грустных времен. «Земную жизнь пройдя до половины…» Чего уж там лукавить, уже виден обрыв, к которому несут кони, слышен тот самый надрывный и хриплый голос моего детства, умоляющий коней не спешить. Я уже хороню друзей. Те, кто останется, похоронят меня. Не надо креста. Не надо конуса со звездой. Путь будет белый камень. И больше никаких излишеств.

Ведь он уже близок — день прощания с Землей. Близок день, когда меня примет космос. Станут близкими звезды. Перестанет замораживать пустота. Жаль, что я не встречу друзей. Жаль, что не с кем будет обменяться мнениями о прочитанной книге, героями которой были мы сами. От каждого из нас останется портрет на фоне счастливых и грустных времен. Останутся звезды. Останется тишина. Обмелеют и высохнут пруды, в которых мы ловили рыбу. Снесут старые дома, в которых мы жили. На портретах появятся морщины, которые носят печальное название — кракелюры. Портреты тоже стареют. Пожелтеют и выцветут фотографии. Могильный холмик, который скроет мою душу, станет всего лишь одной из возвышенностей земли, не самой высокой, которая и просуществует недолго — до тех пор, пока не умрут те, кто помнил меня. По меркам Вселенной — это всего один миг, всего один вздох, всего один шаг, за которым пугающий и одновременно притягивающий обрыв. Встанешь над обрывом, задохнешься от беспокойного ветра времени, ахнешь, чувствуя телом бесконечную пустоту. Вот и все. Жизнь прожита. Жизнь прожита! Прожита жизнь…

Закричишь в синеву дня,
Белой искрой вспыхнув во льду:
— Видишь, Господи, это я!
Слышишь, Господи, — я иду!

Волгоград-Царицын, апрель — сентябрь 2002 года.

notes

Примечания

1

Стихи В. Хлебникова.

2

Стихи Х.Р. Хименеса.

3

Стихи Владимира Маяковского.

4

Странно, что в словаре компьютера уже не нашлось места понятию «советский». Выделил как незнакомое. Что ж, времена изменились. А может, это нам наказание за лженауку кибернетику? Ведь так ее отрекомендовали когда-то в советских энциклопедических словарях?